

И П О З А

Т. Корвин

МОНОЛОГ

Я - бродячий музыкант.

Почему это "их теперь не бывает"? А я что же?

А лет тридцать назад в этом городе появились двое, гитарист и певица: приехали из Америки на фестиваль, остались без денег и зарабатывали на обратный билет в клубах и домах культуры. Публика ломилась: все хотели посмотреть живых американцев. Парень с гитарой улыбался застенчиво, а певица говорила, протягивая руки в зал: "поем со мной! всех вместе!" - она уже выучилась немного по-русски. Ей исступленно хлопали, но никто не пел. И смутившись, она сказала: "вам... это не принято?.."

Я стою на перекрестке, я в темных очках как обычно, в руке у меня скрипка, а вот и шляпа моя на земле, то есть на асфальте. Я как тот Слепой Скрипач: "из Моцарта нам что-нибудь!"

Извольте, я вам сыграю - знаменитая ария Фигаро, "Sono il factot<sup>um</sup> della cita, della cita, della ci-i-i-i - верхнее соль, фермата... -**ta!**" В театре это соль слушают знатоки, ради него и приходят; певцы-коллеги в кулисах ждут его затаив дыхание, а оркестр обрывает игру. Смертельный номер! Под куполом цирка!

Впрочем, это Россини, а не Моцарт. Но соль у баритона действительно высокая нота, а Россини порой не уступит Моцарту, да и Моцарт сам разве не учился в Италии?

В детстве я дурачился, выговаривая "скрипой слепач", - мама тогда давала мне первые уроки на рояле, и я выучился читать ноты прежде букв, а потом стал играть на других, на многих других инструментах. Мне случалось исполнять роль Слепого Скрипача в опере - в театре, где дирижировал мой отец. Я в темных очках, но я не слеп: вижу, как люди идут мимо, вижу, что шляпа моя пуста. Это ничего; пусть только не мешают. Отец мой большой музыкант, приверженец полифонии: в многоголосиц, говорит он, пой сам и дай петь другому, или: твоя свобода кончается там, где начинается свобо-

да другого. Но вот Верди, великий мастер ансамбля - помните прославленный квартет Герцога с Малдаленой, Джильдой, Спарафучиле? - Верди отдает бесчестному себялюбцу Герцогу прекраснейшую тему - а с ней и первенство. Слушайте, слушайте его мелодию... вот так-то, а страдающей Джильде, а всем прочим лишь подголоски и надголоски. Это полифония по-итальянски, не то что Бахов протестантский контрапункт. Кто хочет свободы больше чем другие, тот ее и получает: как Герцог.

Впрочем, не всегда. Все и вся заглушит марш из "Аиды", где идут фараоновы войска, пивизии, большие батальоны, которые правы. Меня, кстати, восемнадцать лет тоже забрали в армию, и это был неприятный эпизод. Жить и там можно, но вспоминать не хочется.

Я замечаю - возле меня уже остановились двое, трое, и смотрят с доброжелательным любопытством. Я слышал даже маленький аплодисмент... лиха беда начало! "Ты удачлив, - говорил мне мой друг по прозвищу Тайный Советник, - или просто ловок? Ну конечно, как всякий еврей!"

Еврей я только наполовину, а был ли ловкачом - не знаю. Я делал что мог и ни разу не обманул ничьих ожиданий.

Например, когда мне было шестнадцать, мне предложил работу врач-психиатр, старый знакомый нашей семьи. "Сделай мне хор, - сказал он, - хочу музыкой полечить моих пациентов."

Я пришел к нему. Собралось пять-шесть мужчин и женщин десятка полтора: у него большая частная практика. Я расставил их полукругом, сел за рояль, и дело пошло. Пели, правда, фальшиво и все в унисон - до полифонии далеко, но доктор был доволен. Он хвалил меня: "Ты прелесть! Ты сын своей матери, твоя улыбка благотворна!" Я показывал вступления кивком головы и пел вместе с ними; платили мне вскладчину.

Однажды доктор сказал: "А что если они у нас будут петь не от себя, а перевоплотившись? Им будет полезно. Хор ревнует Кармен, ненавидит торреадора, его кровь насыщается адреналином, давление повышается, он убивает - и це-

лается здоров. Мои больные тоже вырабатывают адреналин при виде врага, но вынуждены улыбаться и пить с ним чай, бедняги. Адреналин и прочие агрессивные вещества не выполняют свое назначение, отравляют кровь, отсюда неврозы, отсюда психозы. Дадим им иллюзию любви и убийства. Испробуем катарсис!"

Что ж, из хормейстера я стал режиссером: я с детства знал театр. Помогало ли это пациентам? Возможно. Ведь они были довольны. Всерьез пережив театральные страсти, мы потом хохотали по слез, — и доктор тоже; обессилев от смеха, сидя кто где, мы глядели друг на друга с искренней симпатией. "Только тут и дышу", признавались они, "нельзя ли дочаще" и "вот бы наоборот", то есть сюда бы с утра и надолго, а уж потом в свои учреждения.

Кстати и я рад бы наоборот, я был жаворонком, а работал по вечерам, как сова. И много лет спустя, когда я стал книжным маклером... какой замечательный черный рынок был у нас в садике за Академкнигой!.. нет, о нет, я давно растерял все связи, и записной книжки не имел: телефоны, имена, адреса и названия я держал в голове — а теперь позабыл. Если нужны вам книги, я ничем не сумею быть полезен — вы уходите? разочарованы? Я понимаю вас и несколько не обижен, поверьте. Но я был хорошим маклером, когда носился из конца в конец огромного города, в старых домах без лифта взбегал на верхние этажи и жег спички, чтоб увидеть номер квартиры. Я работал в поте лица: гнался за книгой и настигал, и отдавал клиенту — и меня встречали восторженно и щедро награждали в избытке чувств.

А деньги мне нужны были в то время. Я жил у моего друга по прозвищу Тайный Советник, который остался без средств и нуждался в поддержке.

Тайный Советник любил Пушкина, кофе и каламбуры.

— Мой кофе! — говорил он, — черный кофе кипящий как шампанское, горячий как огонь, я пью, я вливаю в себя огонь, и этим жаром согретый, лечу ввысь в трансцендентное. Три ложки на стакан с горстью соли для крепости — и я сам себе судья и палац и король...

- И сам черт не брат, - подхватил я. Он глянул в мою сторону и продолжал:

- Передо мной прекрасный новый мир. Стоит белеясь Ветилуя!

- Стальной щетиной сверкая, - сказал я, - и в чешуе как жар горя...

Он улыбнулся и подал мне громадную эмалированную кружку. Я глотнул и ошпарил рот.

- Шей! - закричал Советник. - Кто остыл - того изверг.

- Но вы не изверг? - сказал я косноязычно.

- О, прекрасно, изя Изберг! Наконец-то...

Мое крестное имя Александр, еврей я только наполовину; но он счел меня за еврея, и я не стал поправлять. Я поцал ему в тон, подхватил его интонацию - так же легко, как поступаая в музыкальную школу повторил заданную мелодию; и этим я смискал его расположение. Ибо, как он говорил, в его доме каждый вечер толпы и празднословие, но никто, никто не умеет услышать и оценить игру созвучий. "Грубые намеки, - говорил он, - политические шпильки, вот что их тешит... как школьников кнопка в учительском стуле!"

Со своими гостями он был недобезен - и все-таки их принимал. А гостей было много: как в известной песне, к нему приходили славяне и негры различных мастей. Привели и меня в его мансарду, вернее чердак, не помню уж над которым этажом; мне было семнадцать, и я летал по лестницам легко и бездумно. Чердак набит публикой, Советник стоит посередине и словно встряхивая погремушку взмахивает рукой; если б двумя, похож бы был на дирижера. Третья рука, чья-то чужая, подносит ему стакан с красным вином; он отвергает его королевским жестом.

... Оставьте себе: я пью кофе. Грейтесь! Вы уйдете отсюда дрожать и мерзнуть в ожидании трамвая. Это вы-то ученики дьявола? Вы встаете по будильнику. Вы замерзаете на остановке, вам холодно в ваших офисах. Что вам здесь нужно? Пить эту красную дрянь - в тоске по трансцендентному - бормотать стихи и жалкий вздор о духе, свободе и тайне. Что смыслите вы в стихах? Мелкие буржуа. Что вы знаете о

свободе? Либералы!

Гости слушали покорно. Кто на кровати сидел, кто на полу, зажав между колен бутылку дешевого красного вина: десяток женщин и мужчин пять-шесть человек, все курили, роняя пепел на пол.

- Вот тебе не буржуа и не мелкий, - вмешался мой приятель, меня приведший. - Не либерал - артист! И сын артиста. У тебя тут выпивон превращают в литургию, и оттуда хотят извлечь автономное искусство, а он еженедельно творит оперу функциональную и литургическую, и это за гроши! Понимаешь, он работает у доктора, который лечит психов искусством, они у него поют и пляшут, - но это все не то, а мы открыли его настоящее призвание, сделай ему бизнес...

Приятель мой пустился рассказывать, а я глядел на Советника - ах, друзья! друзья мои, что это был за человек! Какой актер, какой позер, всем сердцем искренний. Он стоял возвышаясь над захмелевшей публикой - странный, гордый и чуждый, Монтероне на балу у Герцога - мне бы теперь контрабас, у скрипки голос тонкий, чтобы сыграть, передать эту сцену... благодарю, благодарю - но хлопайте смелей, вы вознаграждаете Верди, не меня... Я смотрел на Советника открыв рот - ведь я видел актеров, примадонн экстравагантных и капризных; мою прелестную маленькую маму боготворил весь театр, даже вахтеры и пожарники ей улыбались; отец мой Герц, по пояс погруженный в оркестровую яму, движеньем палочки повелевал балетным принцам и фараоновым полчищам, а на летних открытых площадках появлялся во весь свой рост титана во фраке с бабочкой и кланялся как жрец величаво...

Мама учила партии с солистами, давала последние наставленья в антрактах - а я бродил в кулисах, прятался в декорациях, переправкивал Рагамеса и Джильду; в финале "Русалки" я выбегал на сцену переодетый девочкой, - мое первое трагедии, - и Князь спрашивал: "откуда ты, прелестное дитя?"

И весь наш театральный обиход я, как умел, перенес в просторную докторскую квартиру, и быть может долго бы еще занимался этим; но один из больных, немолодой застенчивый холостяк, вдруг влюбился в партнершу, с которой сыграл не-

мало любовных сцен: он Манрико - она Леонора, он Рудольф - она Мими. И вот, отведя меня в сторону, "но я не знаю, как ей сказать об этом, - признался он, - не умею выразить свое чувство. Уж вы помогите, пожалуйста... А то, - добавил он шутя, - я еще убью кого-нибудь. Ее, себя. Да и вас заодно..."

Минуту поумав, я симпровизировал страстный монолог. Он слушал, кивая и мучаясь.

- Нет, - сказал он, - не могу, не запомню. Знаете, вы повторите: я запишу!

Я уже не помнил ничего - но он ждал, он надеялся; и опершись на крышку докторского роля, я написал для него письмо из оцерных слов, из обрывков арий, склеивая их слюной своего вдохновения. Он вслух читал у меня из-под руки; и если устная импровизация была вся возглас, фейерверк, жестикуляция, то письменная оказалась изображением не любви, но самого влюбленного. Портрет ему польстил. Он благодарно сжал мои руки.

И сколько ж я взял с него за это? спросил мой приятель. Ничего. Как-то в голову не пришло.

Допух! Допух и дилетант. "Впрочем, - продолжал приятель, - в этом что-то есть. - Он задумался. - То есть можно извлечь нечто... Я б тебе устроил... да ведь ты вундеркинд, ты моих советов не слушаешь. Пойдем-ка к тому - ну, к этому!"

- Пусть откроет Брачное Бюро, - сказал Советник. - Агентство брачных объявлений, которые он будет писать сам от имени клиентов. Пускай напишет так, чтобы всякая женщина казалась желанной, а мужчина загадочным и вельжкодушным. Они встретятся - и жених не увидит сварливого уродства, а невесте даже карлик Черномор покажется Русланом.

- А гонорар? - спросил мой приятель.

- Никаких денег, плата натурой: изысканные лакомства, редкие вина, драгоценные камни, старинные книги, запретные книги...

- Номера автомобильной очереди! Для перепродажи!

Я хотел спросить - кому и как продавать и не опасно ли;



но Советник говорил не умолкая, и воображение увлекло меня: я фантазировал, подбирая пары, и мужчины все походили на Советника, а всякая женщина была прекрасной и докорной подругой непризнанного гения. И впоследствии, когда в углу его чердака я, согнув позвоночник, корпел над текстами объявлений, он прищипывал мой нос: неслышно возникая за моей спиной, воровски читал мои тексты и злобно шипел: "ну, я б на это не клюнул!"

Чердачные гости восторженно шумели. Меня поздравляли, обнимали, трясли руку, сулили клиентов и рекламу. Приятель мой сиял: "Мы тебя посадили в седло - скажи!"

В ту ночь мне снились свадебные шествия, Лоэнгрин, Розина и Альмавива. Но проснувшись на рассвете, я спросил себя: где же я поставлю мой рабочий стол?

## 2

Помните ли вы польский дуэт из "Бориса": Марина и Самозванец, "мой коханный, мой повелитель...". Послушайте скрипку, родную сестру бельканто. Каким-то чудом написал русский музыкант мелодию в итальянском духе: должно быть, оттого, что Марина европейка, католичка. Разве на холодном нашем Севере возможна подобная эстетика любви? Впрочем, Советник полагал иначе. Он декламировал мне Пушкина.

Вы догадались, друзья - вы, кто слушает меня с первых слов, но много ли таких? Солнце ярко, я защищен темными очками, а вам оно бьет в глаза, но погодите, вечер недалек, - вы поняли, что именно у Советника на его чердаке я водворился с моим Брачным агенством. Сюда приходили письма, день ото дня все более многочисленные. Я читал о возрасте, росте, весе, о цвете глаз и волос, о профессии и зарплате. Я выпросил у мамы картонные коробки из-под обуви, разрезал на квадраты и тасовал карточки, подбирая пары. Я рассматривал фотографии и анализировал характеры; из этого всего я творил возвышающий обман. Советник рассказывал у меня за спиной и помогал мне и мешал мне. Я пишу слишком быстро и гладко, говорил он, а надо текст ломать, трепать и резать...

Повинуясь, я выворачивал фразы. "Смотри, - говорил Советник, - вот этому под пятьдесят, бухгалтер, комната в коммунальной квартире, любит погулять перед сном, и жену ищет, чтобы гулять вдвоем. Пищи: "Я немолод, я брожу в сумерках..." Нет, не так: "Я стар и одинок, по ночам брожу и размышляю..." Нет. Пищи: "Я горбун! Я выхожу лишь ночью, когда тьма скрывает...". "Советник, - прерывал я, - но кто же пойдет за горбуна?" "Ты не знаешь женщин, их порой тянет на уродство. У верблюда два горба, а находит же он себе подружку!" "Нет, Советник, вы увлеклись. Какой горбун? Какой старик? Он же ваш ровесник!" "Хорошо, пусть не горбун. Тогда у него, наверно, была семья, взрослые дети... Известно ли тебе, что женятся, чтобы иметь детей? Тебе следовало бы открыть филиал: Бюро Анонимных зачатий. В полной темноте! Пищи так: "Мой старший сын метит в реформаторы, но уныл как стопроцентный революционер; второй сын литератор и тайный стихоплет, через два слова поминающий дух и душу; а дочь - обратилась в христианство, в занудное, мазохистское, философствующее русское христианство..."

- Забыв писать, я усталился на него. "Советник, - сказал я, - а где они, ваши дети?"

- Молчи, - отвечал он сурово. - Я не хочу говорить о них.

Я ходил к нему каждый день, я к нему привязался, - но что я знал о нем?

Когда приятель сказал "поставь бутылку коньяку, арендуем этот его чердак под твою контору" - мы пришли и застали Советника одного. Он ходил туда-сюда под голой лампой, свисавшей с потолка; на полу горел пешевый рефлектор, на стуле рядом с кроватью стояла плитка, на ней грелась вода в эмалированной кружке.

- Тайный Советник! - сказал мой приятель. - Как хорошо, что ты один! Мы к тебе по делу.

- Вот этот маленький музыкантик? На чем он играет?

- На скрипке, - отвечал я, - на рояле, виолончели и еще на многих инструментах не всерьез, любительски.

Мы разделись, стряхнули снег; в стене вместо вешалки торчали могучие гвозди.

- Виолончелист, похожий на свой инструмент! Покатые плечи, маленькая головка, круглые бедра!

- Ты послушай, у нас деловое предложение. К обоюдной выгоде. Ты остроумный человек, но непрактичен. Смотри, как ты живешь: разве можно так жить? Быть может это русская традиция, чтоб человек с умом и талантом спал под грудой тряпья, пил из кружки ни разу не мытой - но когда-то же надо с этой традицией кончать. А эта твоя что ни вечер орава... Нет, как кстати, что ты сегодня один! А где все?

- Что мне в них? Каждый вечер новье - и все те же. Волянистые, вялые.

- Ты сноб. Лучших нет пока, а эти хоть думают, чего-то ищут. - Приятель прикурил от рефлектора. - Жаль ты не куришь, - заметил он, - сэкономил бы на спичках... Я тебе давно хотел сказать, в чем твое несчастье, Советник: ты никого не любишь!

- Боже, - сказал Советник, - Господи!

- Ну нет, это ты тоже оставь. Ты в него не веришь! Ты и Бога над собой не потерпишь, ты Пушкина из одного выскомерия цитируешь: стоит белая Ветилуя в недостижимой вышине. Кстати, что это тут у тебя поэтесса одна про Россию читала:

одна единственная  
моя таинственная  
Нева с Непрядвою  
тьма непроглядная  
не любовь - метелица  
не Бог а верится  
на снегу соленом  
тебе поклоны.

Кстати, почему снег соленый? Кровь? Или пот, а может быть слезы?

- Кофе, - сказал Советник, - черный кофе с горстью соли для крепости...

Он отошел, чтобы снять кружку с огня. Я разлил коньяк.

- О, - протянул он, увидя полные стаканы, - это отку-

да же?

Коньяк был армянский, пять звездочек.

- Чудо, - отвечал я скромно, - нечаянная радость.

- Фокусник, - сказал Советник. - Погребок Ауэрбаха.

- Ученик дьявола, - поддакнул приятель. - Так можно ему у тебя работать?

Мое Бюро шло прекрасно. Я устраивал браки и получал благодарственные письма. Женские портреты-объявления мне удавались; случалось даже, растроганные клиентки избирали партнером - меня. "Другого не надо", писала одна, "никто не поймет меня как Вы, дорогой Агент-посредник. Вы меня заставили поверить в себя, Вы сделали меня счастливой силой своего слова. Даю слово вознаградить Вас в меру моей силы, - но сколько же Вам лет? У Вас талант или только опыт? Я хочу повидаться с Вами..."

Я отказывал мягко, но непреклонно. Я верен, писал я, своей любви единственной, первой и последней.

Эти люди были беспомощны, мужчины не лучше женщин. Они даже не знали, где и как встретиться, объясниться. "Отправь в кино, учил Советник, им нечего сказать друг другу, а в темном зале они легко присвоят слова с экрана." Я подбирал фильмы, сеансы, кинотеатры - и сам приходил взглянуть на мои пары. Безымянный, неузнанный, я узнавал их по фотографиям. Не все встречи увенчались браком; но мои клиенты спасались от одиночества хотя б на время.

И более Советник не переделывал мои тексты. Он обрывал себя и говорил:

- Оставь по-своему. Им это подходит. Ты гений банала, ты царь и Бог общего места, ты... - и гладил меня по голове, улыбаясь брезгливо и ласково. Я писал, а он пил свой кофе с солью и бормотал: "Когда Камю писал "Чуму", он не был Граном: потому так упался чудак ему. О бедный Гран, из-за него страдает наше мастерство, поскольку наше естество не переносит ничего, что на излишество похоже. Мне это ведомо - и все же... Когда Камю писал "Чуму"... О наш юмор! О наша ирония, переходящая в наш сарказм!"

Это и был юмор, конечно; но было что-то в нем чердачное. Мне больше нравилось остроумие моего отца. "Шуману, - говорил отец, - не давалась большая форма, взгляните на его симфонии: хаос, пестрота, какие-то уродливые, гигантски раздутые младенцы. Сказать по правде - это дрянь... Но что за благородный человек! Сколько любви к людям!"

А гонорар? Доходы?

Я вынимал из конвертов марки - приятель сбывал их какому-то филателисту, беря комиссионных десять процентов; присылал книги - товар для черного рынка; однажды я получил канадскую меховую куртку, тщательно упакованную. Я предложил ее Советнику, но он ответил надменно: "А где же собольи палантин? Горностаевая мантия?" Нам платили билетами в театр, которые можно пропать за тройную, четверную цену. Театра Советник не любил; но если попадались билеты в филармонию, в его глазах я замечал жадный блеск и говорил: "Пойдем сами!"

Мы слушали знаменитых гастролеров. Но меломания Советника оказывалась странной, горькой и чуждой, он брюзжал в антрактах, он извлекал из музыки то, что музыкой не было.

Играли Торжественную мессу Бетховена. Дирижер потел, хор надрывался. "Но сам он, - спрашивал Советник, - автор-то радовался? Ведь сюда двадцать томов Канта нашпиговано, и звездное небо и нравственный закон!"

Нет, он тоже страдал, пока писал: выл, мычал, тодал. А играют редко: сложная полифония, хоровые партии трудны, неблагоприятны, невокальны до мучительства. Еще хуже, чем в Девятой симфонии.

- *Durch Leiden Freude*, - сказал Советник. - Вот рак верхом на пауке.

- Ладно, Советник, - отвечал я со смехом, - мир спасет красота.

Однажды я повел его в оперу: Лучано Паваротти приехал петь Манрико в "Трубадуре". С трудом пробрались мы сквозь густую толпу на площади. Советник слушал внимательно - из любви ко мне, сказал он; в антракте он шептал с благоговейным ужасом: "Это в самом деле прекрасно, он поет

"*madre infelice*", а хор отвечает "вперед, вперед!" Уж это высший, блаженный абсурд, в стихах такое не позволено..."

Никогда в филармонии я не бывал так счастлив, разве что пождавшись кантилены у Чайковского, скрипичных разливов. Если же играли Баха или Хиндемита - уныние и скука владели мной, я ерзал в кресле. Все чувства отражались на моем лице, Советник замечал: "у тебя животные вкусы."

- *O sole mio* - то, что сейчас нас греет - послушайте эту песенку!

После спектакля, разгоряченный, я ел мороженое и болтал, что не было в мире тенора лучше Лучано Паваретти, что благое небо послало его тем, кто не слыхал Карузо, божественного Корелли и кастрата Каффаринелло; что тенор сочетает в себе сопрано с басом в высочайшем грудном ДО, а когда открывает звук - слышится злодейский блеск баритона; что в нем сочетается головной резонатор с животом и ниже, женщина с мужчиной, животное с Богом. Как это хорошо - родиться итальянским тенором! Мы долго ждали трамвая на площади, перерезанной рельсами, и стоя спиной к театру, лицом к консерватории, я сказал Советнику, что там я теперь учился бы, если бы за любовь меня не выгнали из школы.

Со звоном остановился трамвай; из тускло освещенного вагона он махнул мне рукой. Его трясло от холода.

Назавтра он объявил мне:

- Пенне тождественно акту физической любви...

И начал рассказывать о женщинах, которых будто бы покорил великое множество.

А тактика, спрашивал я, стратегия? Штурм? Или осада?

Цель, говорил он, цель: деторождение. Ни одна не ушка от него пустой!

Он был так неистов и худ, что казался мним - обратно своей уверенности, что реален; словно в нем вот-вот не останется никакой вещественной плоти, только его дом для долбления льда, его кол для расщепления - орудия насаждения и убийства. Вырастут его бесчисленные сыновья - и в мире прибавится его крови, голубой оппозиционной крови. Оппозиция во все стороны...

- Как еж, - сказал я, - сядьте на ежа.

Он невесело рассмеялся. "Твой Луиджи..." "Лючано", - поправил я. "Буонапарте - Луиджи ван Бетховен. Два итальянца. Покорители мира. Но тот действительно был итальянец, а этот себе внушал. Гипноз! Подгибая себя под гипноз, погибая под гипнозом, гипертрофированным как гиппопотам - гиппос для скачки дикой и степной сквозь кровь и пыль, что из-под кованых сапог летит..."

Я не понимал, но видел, что он мучается. Я взял полученную накануне ценную банцеровль и разорвал бумагу: это был растрепанный том ~~инициально~~ анненковского издания Пушкина. Советник умолк и отступил на шаг.

- Возьмите себе, - сказал я.

- Но это огромные деньги!

- Тем более, - засмеялся я, - пойду продавать, а меня маклер надует.

- Мальчик, - сказал он, - ты мое утешение! Ты как дитя или женщина, ради тебя я готов простить миру. Зачем нет здесь виолончели, ты сыграл бы какую-нибудь Элегию Массене, и я плакал бы слезами умиления: тебе я не хочу являться в унылой роли резонера. Мальчик! Расскажи о твоём детстве.

И я сказал, что был бел и розов, херувим с кудрями, боксвитный мальчик, что ноги мои не доставали до пола, когда я сидел за роялем: мне подставляли скамеечку, я бойко играл и сочинял маленькие пьески так же легко, как сейчас брачные объявления; в уборных долураздетые певицы сажали меня на колени, кормили шоколадом и целовали, а я хохотал, видя в зеркале, что нос и щеки у меня вымазаны гримом; я сказал, что хористы, оркестранты брали меня на руки, а мне все казалось, что это не я у них на руках сижу, а кто-то другой. И я боялся, как бы они не узнали, кто я на самом деле - но этого я и сам не знал. Я прочел в одной книжке с картинками: "Мой отец не любил меня, моя мать не любила меня, мои дяди и тети не любили меня", - и решил: наперекор всем, никогда, ни за что не буду несчастным.

рать, и рассказывать, у нас зигшиль-опера, где за арией следует разговор и за дуэтом речитатив *secco*. Или у нас оперетта? Правда: что может сравниться с этим: "Цветы роняют лепестки на песок..."

Первая монета упала в мою шляпу! О, благодарю, благодарю, я видел ее полет — не слыша звона, потому что она одна и упав не ударилась о пругу. Оперетта делает сборы: наш театр, театр моего отца, где он дирижировал тридцать или сорок лет, театр академического и высокого искусства, имеет в репертуаре Кальмана, Легара, Штрауса. Но отец мой Герц бывал недоволен, когда на летних открытых площадках играл отрывки из Оффенбаха. Он уклонялся; и тогда ему внушали: Оффенбах это политическая сатира, очень серьезная сатира. Сатирическая политика, отвечал он уныло и отрешенно, и склонял голову, свою гордую, рано поседевшую голову. Он жаловался маме: "Что мне за дело до политики!"

О политике он и знать не желал.

Когда рутина работы чуть отпускала его — я слышал, как он ходил по кабинету, шаги все взволнованней и чаще, и садился к своему Бютнеру, и играл финал Девятой симфонии. Я слышал стук педали и "Нет! Не то!" — он вслух читал ремарки Бетховена, которые сам вписал в партитуру. "Слишком жестоко и воинственно!" и далее: "а это чересчур разгульно, стихия..." Маму он звал к себе, она бросала свой Бехштейн в гостиной, где учила Первый концерт Чайковского, и спешила к отцу в кабинет. "Zu zärtlich, слишком нежно", шептал отец, мучительно расставаясь с Адажио, "другие звуки, *Nicht diese Töne*." Он начинал песнь Радости. Девятая симфония была мечтой его жизни, но это не политика была: это было переустройство мира.

В музыкальной школе нас, помню, тоже учили, что Оффенбах политическая сатира, но в школе ведь и все чепуху говорят, и никто всерьез не принимает; однако в театре я видел дурашливого характерного тенора, мечтающего спеть Ленского, а то и Германа. Я думал: Оффенбах как Канио — смейся, паяц, ибо такова рыночная конъюнктура, — Оффенбах как блины пек свои канканы, бедный еврей, но тосковал и написал, наконец, "Сказки Гофмана" с песней Кляйнзака, трагически лязгающей. Тут нужен тенор с хорошими крепкими верхами.



В один прекрасный день пришлось мне прятаться, и я решил: спрячусь там, где никто искать не будет. . .

На больших дверях какого-то учреждения я видел объявление: требуется на работу уборщицы, секретарь-машинистка, ночной сторож. Когда я пришел, полоску бумаги со сторожем уже убрали; я подумал — допробую секретаря: на машинке я немного печатаю, и раза два видел стенограммы. Правда, в такой девичьей должности я буду замечен более чем мне сейчас хотелось бы, но что поделаешь. Я пошел спросить.

Человек за столом вскочил и протянул мне обе руки: наконец-то! Он рад, он счастлив, я его спасаю: в кабинетах пыль, в коридорах окурки, уж он чуть не отправил собственную жену со шваброй, в ее-то пятьдесят лет. Старушкам конец, а молоденькие хвост трубой, — скорей за дело, начинай с верхнего этажа, идем, я сам тебе дам ведро!

Я еще рта не открыл, а уж мы бегом спустились в подвал, в два ведра налили воду, он сунул мне в руки швабру и тряпку. Мы поднялись на первый этаж, он сам нес ведра, втолкнул меня в лифт, нажал верхнюю кнопку, мы поехали. Я сказал — надо бы оформиться... Успеешь, успеешь, какие там у тебя документы, ты ж еще не работала, трудовой книжки нет? Наверно, только-только паспорт получила, или нет еще? Ты извини, что я тебе "ты" говорю, ты мне в дочки годишься. Не бойся, окна мыть не будешь, и все права несовершеннолетних помним, отпустим на два часа раньше, и прочие льготы. Лифт остановился, автоматические двери раздвинулись. Тебя как зовут? Саша, ответил я свое настоящее имя. Вот, Шурочка, в том кабинете в конце коридора вытрешь пыль вот этой тряпкой, и в дальнейших трех, потом начинай пол от окна до лестницы, вот где мы сейчас стоим, а потом то же самое в ту сторону.

- А я не помешаю? Там же работают?

- Ничего, переберются, умели пылить — теперь терпи, на шкафах пальцем писать можно!

Я прибавил в метрике букву "а" в моем имени Александр и пришел назавтра в мое учреждение. Женщина за столом сказала: "А паспорт?" "На прописке", ответил я. "Ах, так вы

не прописаны? Как же тогда..." Она набрала номер: мне слышался голос вчерашнего начальника. "Я могу и уйти, - сказал я громко, - не так-то мне и нравится эта работа, таскай тут ведра, я лучше официанткой пойду." Я вынул из кармана джинсов мамину губную помаду и взял со стола зеркальце. Голос что-то сказал ей, женщина за столом пожала плечами, дала мне анкету и пустой длинный лист.

Мне было весело бродить рано утром по пустому зданию, смахивая пыль со столов. Я гремел ведрами, вытряхивал пепельницы и катался в лифте. Потом они нашли вторую уборщицу, и я стал приходить к концу рабочего дня. Однажды я был в кабинете второго этажа; я глядел на стол, заваленный бумагами, и вспоминал с легкой ностальгией мое Бюро Брачных Объявлений. Мне захотелось подобрать пару хозяину этого кабинета. Например, женщина лет тридцати, наездница, хочет познакомиться с мужчиной - любителем конного спорта; я приглашаю обоих на встречу в Манеж от шести до семи, она - шатенка, лошадь в масть...

С такой амазонкой я свел одного моего клиента. Ей пришлось ждать долго, пока нашелся любитель конного спорта. Отправил я их не в Манеж, а в кино, там подстерег мою пару и радовался за них. Женщина была хороша, фильм бессвязен, глуп - но в нем были лошади и песня:

Я вернусь домой  
на закате дня,  
обниму жену,  
напою коня.

Они почти не смотрели на экран и тихо разговаривали. Вдруг он сказал: "Тут кто-то греет руки. И вообще темная афера." "Удачная выдумка", - возразила женщина. "Несомненно, - ответил он, пожимая ее руку, - но что-то все-таки не то. Пожалуй, придется при случае..." "Вот было бы забавно!" - тихонько рассмеялась она.

Вот так я сделался уборщицей и ходил "бряцая ведрами, качая бедрами", как сказал бы Советник; впрочем, после ги-

бели Бюро я у него не был. Кажется, к нему приходили - но не нашли ничего; даже мой стол он перевернул ножами вверх и развесил на них выстиранное белье. До меня не добрались: не зря я подписывался "Агент-посредник". Только мой подарок, анненцовского Пушкина, Советник сохранил. Он прятал его под подушкой.

... Я забылся, бессознательно перебирая листки; вдруг дверь открылась, вошел хозяин.

- Что вы здесь делаете?

- Убираю, - ответил я, - сметаю пыль, вытряхиваю пельницы...

- А зачем рылись на столе?

Он схватил свой портфель, забытый на стуле.

- Я напишу объяснительную записку, - сказал я, вспомнив уроки Советника.

Он глянул на меня, будто сомневаясь, знаю ли я грамоту.

- Садитесь! - он подставил стул с иронической галантностью. - Пишите! - достал из-под вороха бумаг пустой лист, отошел к окну и встал, скрестив руки.

"Объяснительная записка",

написал я, и ниже, с красной строки:

"Рукопись - загадка. Крохотные паучки, шевелящие лапками, большие тупоносые рыбы, бьющие хвостами; выблутые или приплюснутые буквы, наклон вправо, конформистский, стоически прямой почерк, или выдающее усилие над собой горестное склонение влево. Строчки, падающие к концу, так что лист кажется написанным по диагонали. Нет, графология не шарлатанство: знаток с первого взгляда оценит рукопись. Рассказывают, что Моцарт пришел к другу-скрипачу и с порога увидя на его пульте опус какого-то дилетанта, закричал: "Что это у тебя за мазня?"

И ах, как при подобных обстоятельствах Петрарка - говорят, он читал манускрипты графоманов - как сморщил бы Петрарка свой ренессансный нос!

Страницы писем Марии Стюарт и Елизаветы - лучшие иллюстрации в книге Цвейга. Вернее, вся книга - комментарий к этим факсимиле. Твердые прямодушные буквы Марии - это ее характер, отвага в борьбе, впрочем, исторически обреченной:

обреченность заметна в ее подписи *Maria R.* А хитросплетения Елизаветы, предвещающие Талейрана и Меттерниха!

Не отдавайте ваши стихи в печать, советовал Александр Блок начинающей поэтессе. Написанные вашей рукой, они живут, но ваш почерк будет стерт безликим типографским шрифтом.

Да, машинопись не столь красноречива: буквы одинаковы, строка ровна. Но тут говорят абзацы, количество запятых, заглавных букв, торчащих в тексте. Если пред вами лист сплошной печати, ровное поле без недописанных или красных строк — это внутренний монолог, иступленный, без заглавных букв, зато пестрящий запятыми; если строчки короткие, так что правая сторона листка полупуста, а в левой сверху донизу жердочки-тире — это страница диалога, острого и опасного как дуэль. Удары шпаги!

И так далее...

Вот почему листы на столе заворожили меня. Я перебирала их не читая, без дурного умысла..." — я протянул руку поискать еще бумаги, но он вырвал у меня лист: "Довольно!" — и начал читать; брови его поднялись, он взглянул на меня: "Так вы уборщица? А может быть, поэтесса?" — Он дочитал до конца. "Скажите пожалуйста! Мы ищем таланты, а они — вот они, рядом! Но в бумагах не ройтесь. Впрочем, у нас ничего секретного, мы не милиция, не прокуратура, не... Мы не военное учреждение, а сугубо социальное и молодежное. А на машинке вы умеете печатать?"

Я снова сел, и он продиктовал мне мой текст.

"Теперь стенограмму!"

Тут я не очень умел; но он мог диктовать, а я записывать хоть до утра: он не смог бы меня проверить.

— Послушайте, мне нужна секретарша. То есть она мне не нужна, но я сделаю, что будет нужна, — согласны?

У Хозяина была замечательная собака, ньюфаундленд ростом с теленка; она нюхала похлебку, и не учуяв мясного запаха, опрокидывала миску носом. Хозяин был хороший человек, не знаю, кто мог бы пожелать ему зла, скажем смерти от руки террориста. Он и сам никому не делал зла: государственный деятель, он говорил речи, монологи; за что убивать, к при-

меру, первого тенора из отцовского оперного театра?

На заседаниях, совещаниях он меня словно не замечал; но наедине, диктуя, порой ловил мой взгляд, и в голосе у него появлялась ирония, а глаза просили жалости. Мне казалось — он изощряется, доводя свои тексты до абсурда; но была в них какая-то странная магия. Я их никогда не правил: тут не помог бы и Советник. Их можно было только съечь сразу и целиком.

Хозяин часто уезжал в путешествия. Меня он не брал с собой, его сопровождали помощники и переводчики, быстроглазые молодые люди, не раз на меня с любопытством косившиеся. Хозяина быстро возносило, — наверно, им хотелось вовсе убрать меня от него, но он ко мне привязался.

Нет, это не то, что обычно додозревают. Он сразу сказал: "Нам с тобой ни к чему заводить шашни, амурн, ферлякуры". Да и был я, то есть была, не в его вкусе: недаром же я сватал ему в мечтах предательницу-амазонку. Быть может, — Хозяину нравилось иметь среди чужих тайного друга? Я не позволял себе намеков — вообще старался говорить поменьше, боясь сбиться с женских глагольных окончаний, — но с первой встречи Хозяин поверил мне и верил без слов.

Он делал мне подарки. Это было ужасно.

Я люблю поесть, но не мог же я носить домой эти невиданные, немислимые лакомства, я напугал бы маму! Он дарил мне кофточки — это бы ничего, женское не отличишь от мужского, а крошечный лифчик от купального костюма я надел однажды, сунув по влочку ваты, — мне казалось, Хозяину понравился такой намек на грудь. Но ~~еще~~ он принес мне платье! Он огорчился, не видя его на мне! Ребенком я привык к травести, но теперь почему-то боялся: вдруг в платье — то меня и накроют?

Однажды я съел — второпях, в подъезде — кусок чего-то восхитительного, пахучего, один из его даров, — наверно, какую-то рыбу или моллюска. У меня была с собой семикодеечная французская булка, но я ее не тронул, чтобы рот подольше не забывал вкуса.

Хозяин был женат; увы, жена была ему не пара. Я досадовал на него, вернее, за него, я даже ревновал. Развес-

тись он не мог: в его кругу браки считались нерасторжимы, будто заключены на небесах. Как-то раз собака опять перевернула миску с постной овсянкой, дочка закричала: "Мама, она опять опрокинула!" "Надо говорить "он", - поправила жена Хозяина, - это не девочка, а мальчик." "Кобель, а не сучка", - громко сказал Хозяин. Вначале я ~~еще~~ опасался, как бы она не разглядела, что я тоже не девочка, - но она меня почти не замечала, а при случае обходилась со мной небрежно-ласково. До замужества она была балерина, сохранила стройность, умно пользовалась косметикой: на их унылых званых вечерах среди других расплывшихся жен она блистала как звезда.

Ходила она всегда в брюках, и дочку заставляла их носить, но та почему-то не хотела. Эта девочка, угрюмая и упрямая, рвала тетради, ломала в рояле молоточки. Она портила орудия принуждения: мне в детстве тоже порой хотелось, но я не смел.

Пожалуй, жена Хозяина не удостоила бы ревновать, если б он со мной все-таки фёрлякурил...

Он выходил на первое место. Его соперница была женщина с наружностью лошади, и он смеясь и ~~еще~~ морщась пересказывал мне речи на обсуждениях: "Нам нужны женщины, мы должны выдвигать женщин... Молодых женщин, мы молодежная организация! И для представительства... - А нам самим что ли не нужно? Курили бы поменьше, а то вон дым не продохнуть. Да теперь и женщины сплошь курят. - Ну не пили бы... да теперь и женщины... - Нет, все-таки женщина украшает! Женщина, особенно молодая, освежает..."

И когда все было решено и друзья Хозяина победили, старейший из них сказал со вздохом: "Не хватает нам, не хватает женщин..."

Он победил.

Зачем, зачем, думал я с жалостью, ведь он Жюльен Сорель-семинарист, уверенный, что запаса лицемерия у него на сто лет; принял постриг без веры, добрался до сана епископа - и вот не нашел ничего, кроме тоски и скуки. Он молод еще и крепок, носит джинсы и свитер - чего ему ждать,

## На что надеяться?

Ах, был он тих, бездеятелен, бессловесен — но нет, он торжествовал, он сидел в седле, привставал на стременах и гикал, крутя нагайкой.

«Придется праздновать, — сказал он мне, — поедем на дачу. И, пожалуйста, будь добра: надень платье...»

Мы приехали туда с его женой и дочерью. Кругом росли ели и высокие тополя, березы и сосны; поверх низкой ограды я различил кровлю коттеджа. Нам открыли широкие ворота. Не знаю, какого стиля это строение: крытая наружная галерея обвивала его, поднимаясь с первого этажа на второй. В стороне стояли еще какие-то маленькие домики — «службы», сказал бы Советник. Внутри я заметил резные панели — или карнизы? Я был рассеян, меня пугало роковое платье. Помню белый телефон и белый рояль, на крышке стояли вазы — Советнику это не понравилось, когда я впоследствии пытался ему все это описать, и спотыкался, не зная терминов. «А ванна? — спрашивал он, — расскажи про ванну.» «Какие-то стены пестрые с прожилками, прохладные наощупь..» — говорил я, а он перебивал: «Мрамор? Карарский мрамор, белый и черный, а ванна вделана в гранит? Ах, не было там меня, чтоб дать тебе памятную затрещину, как тому принцу мудрый воспитатель!» «Не знаю, — отвечал я уныло, — там полно всяких блестящих штук, никелированных, хромированных, из стены под зеркалом тоже торчат приспособления, я не трогал.» «Нет, а ванна, сама ванна?» «Там как бассейн, понимаете, бассейн...» «И зеркала, и ступени, — перебил он, сверкая глазами, — и капли воды как опалы на розовом теле...» «На изумрудном! — передразнил я, — розовая вода на теле цвета морской волны! И фонтан шампанского. Ах, Советник, у вас гуманитарное образование, либерально-классическое: оно же старомодно. Вы говорите мертвым языком о тайнах счастья и гроба, но я не могу вам описать — а вы понять обычную современную ванну, ванну вульгарис! Забудьте, мне тошно, не такой уж я пентух, чтоб не распознать мрамор, — это не мрамор был, а полистирол, понимаете, по-

листирол, практичный, потому что его можно стирать!"

В полночь, в белую дочь приехал Хозяин, и с ним приятели. Из багажника они доставали свертки, несли в дом и ставили на стол бутылки. Они уже были навеселе и шутили: "Вчера коронация, сегодня инаугурация; завтра тронная речь! Один глянул на загроможденный стол, раскинул руки и пошел вокруг вприсядку, распевая: "Испекли мы каравай вот такой ширины, вот такой вышины!" "Лукулл обещает у Лукулла", - промэнес хозяин с мрачным сарказмом. Назавтра предстоял его первый выход в новой должности. Они устроили его победу и радовались как своей собственной.

Жена ставила тарелки, я помогал. Хозяин остановил меня в дверях: "Я же тебя просил..." "Я что-нибудь забыла?" - притворился я. "Мне хотелось увидеть тебя, наконец, женщиной. Ты за меня не рада? Ты не хочешь сделать мне удовольствие?" "Хорошо, - сказал я, - платье у меня с собой, завтра с утра надену."

Дочку давно отправили на второй этаж спать.

Я плохо помню, что там было на столе: я думал о том, что вот пришла мне пора уходить от Хозяина. Мы что-то ели, не знаю названий, и есть это, наверно, полагалось специальными приемами, каких никто не знал. Я спросил у хозяйки про пирог: "де Страсбург", - отвечала она картавя. Я намазал кусок пирога икрой. Много пили. Под утро я положил на тарелку крабов, захотелось еще, я поискал на столе и думал потихоньку спросить у Хозяина. И тут заметил, что с ним неважно.

- Где девочка? - спросил вдруг он у жены громко, через весь стол.

- Ты же знаешь, в спальне второго этажа.

- А ты ее поцеловала на ночь?

- Мой добрый друг, - сказала она мне тоже через весь стол, - наш триумфальный именинник устал, не прочтете ли вы нам стихи? Присутствие молодой девушки так украшает общество! Вы знаете, - обратилась она к гостям, - у мужа секретарь - поэтесса!

- Зачем она там наверху одна? - сказал Хозяин, - Я



ее еще не видел сегодня.

Он встал, упираясь в стол ладонями.

- Пошли!

И они пошли за ним, все пятеро, топая новыми башмаками - или штиблетами? еще от пота на стельках клеймо не стелось - шатая руками перила внутренней винтовой лесенки.

В огромной пустой серебристо-голубой комнате дочка кружилась перед зеркалом, на ней была юбка до полу из простыни собранной и подхваченной веревочкой на талии. Она чуть слышно напевала, не разжимая губ. Увидав нас, она резко остановилась, смолкла и попятилась в угол. Хозяина шатнуло назад. Я вытолкнул приятелей, первого и второго; остальные еще не дошли, и последние стали первыми, когда мы в молчании спускались вниз.

- Спит, - сказал Хозяин, - мы ее разбудили, слуги дьяволовы, но ничего, опять заснет.

- Талантливая девочка, - пробормотал первый.

Второй включил музыку.

- Слушай, - сказал четвертый третьему, - десятой час, он до пожения риз, а еще до города два часа езды. Электричкой. За руль-то ему теперь не сесть.

Они подозвали пятого, посоветовались и подошли к Хозяину: "Ты бы пошел полежал..."

Я думал - сейчас он их пошлет или даже двинет, но он ничего: выплез из кресла и послушно пошел в спальню. Там стояли две кровати - палисандрового что ли дерева. Пятый откинул одеяло. Третий поправил подушку. Хозяин схватил за край простыню и выдернул из-под одеяла.

- Вы зачем, - сказал он, - не голосовали за Марию...

- Елизавету, - поправил второй.

- Один черт. Вы ее провалили, а теперь говорите, что нам не хватает женщин?

- Ей бы раздеть, - сказал третий первому.

- Надо бы супругу...

Они топтались на месте. Я подошел, чтобы снять с Хозяина рубашку. Он оттолкнул меня, обернул простыню вокруг талии и подвязал подтяжками.

- Я пойду на заседание, - сказал он, - и докажу, что

общество женщины украшает...

- В сауну, - сказал четвертый.

- Не успеем, - заметил второй, - еще до города два часа езды.

- Ее черт знает как и тонить, - сказал пятый.

Я выбежал вон, перелез через низкую ограду. Вслед мне кричал сторож. Я побежал по шоссе, взмахнул рукой, пустой тархтящий грузовик остановился.

По дороге я выбросил сверток с платьем.

#### 4

Скажите, девушки, подружке вашей,  
что я ночей не сплю, о ней мечтаю.

Что нежной страстью  
как цепью к ней прикован...

Меня забрали в армию, потом я вернулся домой. Я будто и не уезжал никогда: армию я вычеркнул, стер и смысл в памяти.

Ничто не менялось у нас дома. Мама по-прежнему учила Чайковского, ей хотелось сыграть Концерт для фортепьяно, наконец-то фортепьяно с оркестром, а не за оркестр, как играют оперные пианисты-концертмейстеры. Не часто удавалось ей заниматься, ее маленькие ручки с трудом брали аккорды; но октавы первой части уже начали получаться.

Родители не докучали мне. После спектакля они за полночь вспоминали и разбирали каждый акт как шахматную партию. "Я загубил хабанеру, - говорил отец с ужасом, будто погубил мир, - не тот темп!" "Это хор тлянет, - отвечала мама, - сделай еще сценическую, я поиграю." Энергия отца была великолепна, он как Гераклес нес на себе громадную инертную массу оркестра и хора, а мама подталкивала сзади. Я думал - не лучше ли все оставить на волю случая; но мне нравились их ночные разговоры. Казалось, отец тогда обретает власть над теми, кто спит беззаботно.

Зато родители поздно вставали: привилегия артистов. А я всегда просыпался с рассветом.

В свободные вечера они оставались дома. Мама брала с собой книгу, читала вслух страницу-две. Книг было много: родители стояли во всех очередях за подписными изданиями, и стояли вдвоем, хотя могли бы сменять друг друга; но отец не хотел оставлять маму. Они играли в четыре руки фуги Баха; кончив, мама складывала руки и говорила: "как в церкви". Дверь в гостиную была открыта, на пороге лежал наш черный королевский пудель и рядом с ним рыже-белый паршивый кот. Пудель нежно клал коту на спину тяжелую лапу, кот терпел. Они жили в сентиментальной дружбе.

Пудель приходил к отцу в кабинет, тыкался мордой в колени, отец, не глядя, гладил его. Мама трепала пуделя за уши и целовала в нос. Мой крестный Александр прогуливал пуделя и волил когда надо к партнершам. Пудель старел; крестный говорил раздраженно: "пора бы и угомониться..."

Крестный был свой человек в доме, он знал отца и маму задолго до моего рождения. Он вмешивался во все и делал мою жизнь несносной. Он возил меня в коляске; он одергивал на мне младенческие платьица, школьную курточку, наконец, мужскую рубашку. Он поймал меня, когда я пробовал курить в клозете. В четырнадцать лет я заработал первые деньги: какая-то женщина доставила меня с собой в очередь, чтобы получить сосиски на двоих, и дала мне за это рубль. Крестный кричал: "Такие таланты скоро доставят мальчишке известность - скандальную известность! Ему придется скрывать собственное имя!" Отец растрогался, протянул крестному руку и сказал: "Дорогой, верный друг! Вы заботитесь о нем как о родном сыне..."

Я купил себе мороженое, а маме ланчши. Мама меня поцеловала.

Быть может, крестный дозерцал некий мысленный идеал - который я губил своим поведением. Но говорил он обиняками, намеками, я не понимал, отец слушал рассеянно и забывал, а мама смеялась.

Я рос и вет приблизился к концу школы. Крестный как комар зудел о моем будущем.

- Что же я должна делать? - жалобно спросила мама.

- Одеться со всей тщательностью... я разумею не вас, но вашего супруга..., - отвечал он голосом надтреснутым как его

сознание, — и пойти за советом к людям уважаемым.

Решили созвать совет у нас дома. Мама купила электро-духовку, чтобы испечь большой пирог. Она с восторгом глядела в таинственную жаркую пасть, а отец сказал: "три отрока в печи огненной." Крестный вышел в переднюю и вернулся с унылым лицом, он видел счетчик, бешено крутившийся.

Он побежал в магазин, принес три буханки хлеба, сыр и чай для заварки. Масло и сахар нашли дома.

Что сделают со мной? Куда мне пойти?

— По вашим стопам! сказал, целуя маме руку врач-психиатр, он же лор-консультант в нашем театре. — Мир спасет красота! — Ах, сказала мама, это хорошо для женщины, но... — Дускай делается врачом, предложил молодой композитор, — надежный диплом, а главное эта профессия развивает прекрасные качества: умение слушать, и сострадание. — Но как он будет сдавать химию, — сказала мама. — Куда бы ни пошел, воскликнул главный режиссер, этот юноша сын своего отца, и наследует его высокую духовность. Я вас чту глубоко, милостивый государь, — он обернулся к отцу, — но поймите, актеры на сцене движутся, а не только поют!

— Вы все говорите не о том, — заметил либреттист, отцовский одноклассник и неудавшийся музыкант. — Мы должны думать о будущем: какие люди понадобятся России?

— Россияни, сказал рассеянно отец.

— Если я могу здесь говорить откровенно, не опасаясь... не доноса, конечно! но ложного толкования... Исповедаться без утайки...

— Священник — самая перспективная профессия!

— Ничего смешного. Вот подождите, Россия...

— Этой вашей России пора бы стать скромнее.

— Разумеется, вы бы рады ее разбазарить!

— А я вам говорю, хватит твердить "халва-халва", слаще не будет!

— Давайте я его в магазин устрою, — сказал мрачный балетмейстер, когда все отсмеялись. — У меня директор знакомый. Важный как Нобелевский лауреат.

— Как вам всем не стыдно! — сказала мамина лучшая под-

руга. — Поди ко мне, мой мальчик, я тебя поцелую. Пусть они там изощряются в остроумии!..

Но пока думали и выбирали, вмешалась судьба.

В шестнадцать лет я долюбил. Впервые в жизни я был свободен — верней, не знал удержу или был одержим; а может быть и вовсе не я это был, а кто-то другой. Она была моя одноклассница, и это случилось на последнем экзамене, вслед за которым началось лето.

Отец и мама уехали с театром на летние гастроли, с ними крестный. Я был один в жарком городе и пустом прохладном доме, и она пришла вечером и осталась у меня. Мы завесили окно, разделись и до полудня не выходили из спальни, а потом выпили и съели все, что нашли в холодильнике. Мы опять легли в постель и спали до вечера; она встала и пошла на кухню, я за ней и стоял рядом, пока наклонясь, в рот забрав кран, она пила воду.. И будто я пил вместе с ней — мне захотелось в клозет, я пошел и не закрыл дверь, а она стояла возле и смотрела: сбоку, чтоб лучше видеть.

Наконец мы нехотя оделись и вышли на улицу. В стекле витрины мы увидели себя и удивились: мы стали худые и бледные. Нас пошатывало. Мы ели мороженое, пили газированную воду, потом вернулись домой и опять никуда не выходили долго, долго.

Все это время мы не сказали друг другу ни слова.

Был уже август; театр моих родителей и с ними крестный добрались до южного моря и там играли и пели для жителей маленького сонного городка. Они вызвали меня телеграммой — чтобы я загорал и плавал. Я не поехал бы, но телеграмму подписала мать: на расстоянии она вдруг почувствовалась мне маленькой старушкой, слабой и нежной, и я не посмел отречься. Моя любимая дулась: ей не хотелось к себе домой.

На юге я получил от нее письмо.

"Любимый! Я знала, что тебя нет, но все-таки я тебе звонила. Я звонила круглому половику у двери, и звонку-кукушке — соль мажор, большая терция. Я звонила зеркалу в прихожей, простыням и подушкам в нашей спальне, я звонила также халве в твоём холодильнике, которую мы ели на исходе ночи любви.

Жаль, не всю слопали. По-моему, ты чересчур страдал, хоть и молча, что святотатственно ввел меня в спальню твоей матери и положил на ее постель: во-первых, это была постель твоего отца, на постель матери лег ты сам, во-вторых, они на этой постели делали то же, что и мы, и в-третьих, разве я не твоя жена перед Богом и людьми? ..

Мои сановные родители одержимы идеей сословного брака. Сколько раз я слышала, как они спорят, что со мной делать и за кого выдать замуж! И отец говорит матери: "Ну, за этого — это уж тыхватила..." Они не верят, что браки совершаются на небесах. А что они меня крестили /тайком от моей знаменитой прабабушки, чтоб не оскорблять ее убеждений/ — так это они сделали для престижа и вообще на всякий случай. А моя знаменитая прабабушка, при всех своих убеждениях, когда у меня начались регулы в одиннадцать лет, то есть необычайно рано, — она трясла перед моим носом испачканными трусиками и говорила, что я, выдать, не о том думаю, о чем надо. Помню, я обиделась и разозлилась и подумала: неужели все их знаменитости такие тупые, и крошечные, и сморщенные? Или это от ее необразованности? Но вдруг она была права? Вдруг я тогда уже думала о тебе и ждала тебя и ты пришел, ты мне явился — а подумай, этого могло бы не случиться!

Ибо — послушай, мой любимый, мой первый и последний, Всевышний благословил наш союз. Я спросила Его, и Он мне ответил. Регулы, которых я ждала неделю назад, не пришли. Я уверена, что это сын: ведь ты так талантлив! *Саго, саго mio ben!* Я родила бы тебе двойню или пятерых сразу, я читала, что так бывает, и пусть взрослые говорят "фи! как кошка!" Я рожу тебе много-много, и всем найдется место под солнцем. Это мои сановные родители ужасно боятся за место под солнцем, и перевели меня на контрабас из-за того, что скрипачам-де уже тесно. Будто я гипнопотам и нигде не помещаюсь!

Останься

твоей верной и преданной женой.

Если родится шестерня — подумай, как будет для тебя лестно!"

Мне было шестнадцать лет; позже, взрослым мужчиной, я не раз бывал с женщинами, и женщины меня хвалили, и сам я

радовался моей легкой и молниеносной силе; но чего-то не хватало, наверно, — или женщины те оказывались опытней и ловчее, чем моя первая возлюбленная?

Я немного удивился, что она пишет о Боге так, словно его знает и давно привыкла. Сам я о нем не думал. Но я верил, что легко сумею овладеть всем, что умеет и знает она.

Театр вернулся. Все обрушилось на нас сразу: осень, родители, школа. В школьной форме моя любимая казалась мне уродливой. Она высокого роста: валькирия, говорил наш учитель музыкальной литературы, **какие плечи, какая грудь** — отчего ты не певица? А подруги говорили ехидно: толстуха. Она злилась, она стыдилась своего тела. И потому так презрительно смотрела на всех и так надменно вскидывала голову.

Больше не было у нас дома, где мы в темноте обнимали друг друга. А быть вместе просто так, среди всех, одетыми, мы не могли. Мы не могли стоять или сидеть рядом. Она краснела до слез, я хмурился и сжимал кулаки. Скоро все заметили, что мы избегаем друг друга. Начались шуточки, сплетни. Потом ее стало тошнить, ее рвало по утрам и, наконец, ей пришлось признаться матери.

Вечером я ждал под окном: она обещала трижды зажечь и погасить лампу, если все кончится благополучно. Сигнала не было; я свистел, кидал камешки, потом ушел, не зная, что делать.

Назавтра она не пришла в школу, а на следующий день после уроков я увидел на скамейке во дворе ее тетку. Я подошел.

— Вот ты какой, — сказала тетка, — а я думала получше. Ну что, натворили дел? До мне так ничего страшного, даже прекрасно: захотели — сделали, мне такой нонконформизм нравится, и рожать ей не повредит. Ранние браки, ранние дети: по-королевски, по-крестьянски... Но не моя боля. Слушай: мать ее заберет из школы, я у своих суперэкстраординарных медицинских друзей добуду справку: по состоянию здоровья академический отпуск на год. Все будет тихо. Не бойся, никто ее не съел, она сейчас у меня, за справку выкупила, а то, пожалуй, и съели бы. Нет, не проси, не пушу: я не дуэнья, но и не сводня.

- Это она вас прислала? - спросил я.

- Никуда она меня не посылала, а мне самой захотелось на тебя поглядеть. Вот я непорочная старая дева, а что хорошего?

Я подождал, чтобы видеть, куда она пойдет: она остановила такси и уехала направо, значит не дэмой. Я побежал к автобусу. Светило солнце, окна в теткинском доме были открыты; я окликнул любимую. Звук был странный: я ни разу не звал ее по имени. Солнце слепило глаза, я не сразу увидел ее в окне второго этажа, она махнула мне рукой.

- Меня заперли. Ты сюда можешь влезть?

Я мог.

- Садись, - сказала моя любимая. Она отошла в угол и спокойно заговорила:

- Они меня куда-нибудь увезут втихаря. Они говорят - я неблагодарная, что не ценю, что меня спасают от скандала. И только во имя славного имени моей прабабки они не будут вскрывать моего и твоего истинного лица, потому что я развратна, а ты подлец. Мне не остается ничего другого, как немедленно умереть.

Она сказала "умереть" - про одну себя. Она всегда всех презирала, и мне это нравилось; но не меня же!

- Надеюсь, ты мне позволишь тебя сопровождать? - спросил я холодно.

Она открыла теткину тумбочку и вынула бумажный пакетик: там было двенадцать порошков снотверного. Мы пошли в кухню, взяли в холодильнике лимонад, потом моя любимая передумала и принесла из комнаты бутылку вина.

- В холодном не растворится, - сказала она.

Мы налили вино в чашки. Я сказал, что надо всыпать порошки в вино.

- Невкусно, - возразила она, разорвала дополам бумажную салфетку и высыпала по шесть штук на каждую половину. Мы смотрели на две белых горки.

- А тетка? - спросил я.

- Не раньше полночи. Она пойдет к одним и не застанет дома, поедет к другим и опять к первым, поговорит, попросит



и с ними выпьет, — и знаешь, сколько за эту фальшивую справку, я тебе еще не рассказывала...

— Я знаю, — сказал я.

— Ах знаешь... — ответила она разочарованно и посмотрела в чашку. Мы замолчали. Я взял чашку в руку...

— Подожди, — сказала она, — пойдя закрыть дверь, там зазов и цепочка.

Я пошел, и когда вернулся, она была *morte pallida* из "Паяцев". Она сказала:

— Топнит, — встала и согнувшись пошла из комнаты. Я вышел за ней, она вошла в ванную и закрыла за собой дверь; я слышал, как стукнула задвижка. Она открыла воду, потом я услышал, что ее рвет, выворачивает наизнанку. И я был рад, что не вижу.

Она вышла умытая, бледная и спокойная. От нее пахло мылом и зубной пастой, и она мне улыбнулась. Мы вернулись в кухню.

— Поехали, — сказала она.

Потом меня промывали и чем-то накачивали, — наверно, ее тоже. У койки стояла какая-то гнусная виселица с жабой на верхней перекладине, оттуда спустили кишку и присосали к моей руке — и к ее, наверно, тоже. Я очень хотел спастись. Мне чуть-чуть стыдно в этом признаваться; но ей, наверно, тоже хотелось: она осталась жива, хотя знала, что мы больше никогда не увидимся и ничего друг о друге не узнаем.

Но наше преступление — разврат, в квадрат возведенный попыткой двойного самоубийства, — наше преступление в куб было возведено оглаской. Нас выгнали из школы; родители со знаменитой прабабкой увезли ее куда-то далеко, а я так и не получил аттестат зрелости.

Крестный настаивал, чтоб уехали и мы. Но мои родители словно не замечали бесславия. Они умевт носить свои уши выше уровня неприятных звуков: черта, несомненно, аристократическая. Или артистическая? Возможно, втайне они даже мне сочувствовали: театр тогда ставил "Ромео и Джульетту" Прокофьева. И мне балет — руки, плечи, бедра и ноги — казался лучше

многословного Шекспира. Слова лишь узор на канве движений.

Отец мой Герц — полуеврей, сын еврея и русской матери. Я, следовательно, еврей всего на четверть. Еще отец моего отца забыл язык и обичаи и умер, не зная ни одного родственника за границей; а для его сына, моего отца, Иегова и филистимляне — лишь персонажи ораторий Генделя. Его Священное писание — партитуры.

Отец мой очень любил мать; детей у них не было.

То есть как не было? А я?

А это дело другое.

Мама смелая женщина. Видя, что брак не приносит плода, она нашла способ. Мама не помышляла об измене, отец мой Герц отдавался любви с такой страстью, с таким самозабвением, раз за разом подряд исходя до конца! Никогда мама не оскорбила бы его — ни с автором Первого концерта, явись он к ней во плоти; ни с молодым талантливым композитором, чья опера с успехом шла у нас в театре; ни даже с Манрико, Радамесом, Самозванцем — первым драматическим тенором, с которым мама-концертмейстер учила все партии. Все они были искры Божии — соперники, соратники отца, братья-музыканты: изменить с ними — хуже измены, это была бы измена-кровосмешительство.

Но был друг детства, ни в чем не повинный; с ним невинной оставалась и мама. В нашем же театре певец — характерный тенор, Ерощка или Вомелий, но не более, — мой великодушный отец напрасно говорил, что Александр осмилит бы партию Жареного Лебедя из "Кармины" Орфа. Он ходил к нам в дом, пел под мамин аккомпанемент арии, какие не суждено было ему спеть на сцене; и он пил: бутылка традиционно стояла в углу под хвостом рояля, он заменял ее новой через три-четыре дня. Он отпивал глоток-другой, и на глазах его появлялись слезы.

Отец мой Герц спит по ночам необычайно крепко — быть может, ему снится Девятая, хоровой финал, Радость и Одними-десять миллионы: первое исполнение седьмого мая 1824 года, когда глухой Бетховен давал темпы, но не мог слышать музыку. Наш черный королевский пудель однажды забрался в постель с маминой стороны — и отец ничего не знал до утра, когда увидел его, спящего поверх маминого одеяла мордой на подушке...

Меня крестили по православному обряду; отец добродушно

улыбался, он с Богом на равных; и он был счастлив, что я, наконец, родился. Конечно, крестным стал Александр: кому же еще?

Как крест я нес его унылое имя.

После всех приключений я охотно побыл бы дома; но там с утра звучал его голос, надтреснутый как его сознание. Он воздевал руку патетически — а когда две, то несмотря на его малый рост, становился похож на отца моего Герца.. Крестный был способной обезьяной.

Я принялся искать себе занятия, заработка.

И снова музыка кормила меня. Я странствовал по маленьким ВИА, недолговечным как мотыльки, играл на чем придется, делал аранжировки популярной классики. Я к ней привык, да она и без моих стараний давно перешла в разряд легкой музыки. Поглядев раза два поближе, как сочиняют песенки, я взялся сам; я писал музыку и слова, не настоящие, конечно, а так, вроде "Звезды в облаках" или "Танцующего сердца", с английскими рефренами "oh you son of a bitch". Товар мой оказался ходким, конкурентоспособный. Правда порой меня упрекали за гладкие гармонии, за немятежный ритм. Что делать, я не мог влюбиться всерьез ни в одну солистку, гвоздь и душу ВИА: потому и работа моя лишена была огня.

.. Впрочем, я не избегал развлечений. Я возвращался домой под утро и раздражал крестного. Мои родители, говорил я ему, виновники дней моих, но даже они понимают, что не они хозяйева моих ночей; уж не хочет ли крестный видеть меня женатым, отцом семейства, продолжателем рода? Да будет ему ведомо, что у меня уже была жена, первая и единственная, и где-то, быть может, растет мой сын, а то и двойня.

Мама играла вторую часть Концерта, кантилена у нее пошла сразу: мама всегда была мягкой и нежной. Крестный не сказал, кем бы надо мне быть, но закричал, что я инфантилен, женоподобен. Что женское влияние сделало меня гермафродитом. Мама оскорбилась и вышла из гостиной. Отец возразил: разве двойная потенция хуже одинарной? Амфибия, двоякодышащая...

Таково остроумие моего отца, и лучшего я не знаю.

Соскучившись, я пошел погулять. Ноги сами привели меня на чердак к Советнику. Он был странный, горький и чуждый, но была в нем прелесть много бытия. Не сочинил ли он новый каламбур? Советник был один и ходил туда и сюда под высоким потолком. В руке он держал книгу, мой поларок: анненковский том Пушкина. Он приветствовал меня:

- А вот - полужуравль и полукот! Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, - и слышат ли то в могиле истлевшие их кости? - Кости с ушами: Сальвадор Дали!

Услыхав это, я понял, что дольше не вынесу крестного. В конце концов он сделал бы меня несчастным. Но я знал, что он пребудет в доме моих родителей вечно, вечно, и не мне устранить его оттуда.

## 5

Я ушел сам.

Я вернулся к Советнику и у него поселился. Среди хлама на чердаке я нашел раскладушку. На чердаке было тепло, рефлектор сиял как звезда, мерзнувший Советник накрутил на него новую толще басовой струны спираль, как в маминной электродуховке. Горела плитка, стоявшая на стуле, Советник пил кофе с солью - но кофе сделался хуже: Советник вываривал гушу. Он экономил.

Он старел. Прежние поклонники его покинули, - пожалуй, он сам их разогнал: над их любимыми словечками "душа", "духовность" он издевался, а их увлечение христианством сравнил со ступней китаянки, которая выгибается вверх, потому что бинты не дадут расти нормально. А ведь на их добротные приношения он жил, как жрец, кормящийся у жертвенника: пакетики кофе, бутерброды, консервы. Где-то была у него влиятельная родня, но не принимала его давно и отказалась давать деньги. Впрочем, родственники от него не вовсе отрезались: чьим-то негласным покровительством он был оставлен на своем чердаке, не имея никаких официальных бумаг и не платя ни копейки.

Советник разделил со мной кров, а я с ним заработок. Я сделался книжным маклером - чернокожником, как он говорил.

Я быстро выучился разбираться в книгах, особенно в религиозно-философских — должно быть потому, что сам их не читал. Черный рынок, разгромленный в садике за Академкингой, весело возродился на окраине, и денег нам хватало. Моя новая работа оказалась куда лучше Врачебного Бюро: я наслаждался немедленным и живым эффектом.

Я заметил, что обрета желанную книгу, люди спешили отстаться с ней наедине — или похвалиться перед друзьями; прижав к груди свое сокровище, они взмахивали свободной рукой, ловя Фнат или Волгу. Машин не хватало, возникали ссоры, перебранки; однажды я выстроил очередь и встал впереди регулировщиком или дирижером. Правой рукой я останавливал машины, левой балетно полоскал в воздухе, приглашая садиться. Кивки, улыбки, галантность, — случалось, женщинам уступали очередь, и не единого слова: слова не нужны. Я открывал камам дверцу и получал чаевые — не глядя; моя ладонь ощущала монеты и бумажки.

Я хотел купить Советнику теплый плед, но он не согласился. Он спал под лоскутным одеялом, обрывок поролона на плечо, клочок меха на желчный пузырь. Он клал под голову Пушкина. Эмалированная кружка изнутри покрывалась черной кофейной накипью.

Он лежал на кровати ничком. Скрипнул пол, вошел кто-то незнакомый, — дверь у нас по-прежнему не заперлась. Советник резко поднял голову.

— Кто вы такой? — и не дав ответить: — Что вам нужно?

Он вскочил с постели и ежась в ознобе закутался в одеяло.

— Я знаю, зачем вы пришли, — сказал он, приблизившись к гостю и вглядываясь. — Вам шепнули: живет-де интересный человек... Ну смотрите: как, интересный? Просто интересный или во всех отношениях? Но вы не получите интервью. Я — интересный человек в отставке! Явились новые, как грибы после дождя, молодые интересные. — Он сорвал с гвоздя старую шляпу с полями, надел и снял, кланяясь, метя полями пол: — Честь имей!

В пыли на полу остались полосы.

Впрочем, к нему еще ходили. Но эти новые не похожи были на прежних, не пили красного вина и ничего с собой не прино-

силы. Они появлялись ночью или под утро, Советник угощал их кофе с солью и каламбурами, уксусно-желчными; но теперь он меньше говорил и больше слушал. Помню каких-то мальчишек и старика лет семидесяти с выкаченными глазами, — злучалось, для него Советник просил у меня рубль.

Я возвращался к Советнику поздно, усталый. Я родился жаворонком, вставал с рассветом, — он же, сова и неврастеник, только к ночи входил в силу, и тогда к нему слетались гости и не давали мне спать. Ради меня он гасил свет, говорил шепотом, но их не мог сдержать, да и сам скоро забывался. Шумел ветер и дождь, рорел рефлектор с толстой спиралью, свеча из прежних запасов; он ходил туда-сюда, перешагивая через ноги сидящих. Открыв глаза, я видел длинную тень Совы и черные скрюченные фигуры на полу, мне мерещились обрывки невозможных слов и невероятных видений. Я ворочался, заснул и проснулся; лицом к стене на левом боку мне снилось, что я стою на железной лестнице с огромной малярной кистью в руке; я вцепляюсь в лестницу и, изогнувшись, правой рукой тянусь вниз обмануть кисть в ведро с краской. Это малиновая, багровая стена напротив Аничкова дворца, я вывожу громадные белые буквы на простенке между третьим и четвертым этажом. Я лезу выше и выше, но достаю до ведра, потому что моя рука удлиняется, а снизу вытягиваются руки, возносящие ведро. Ерунда! Булавочный укол, шпилька, ей это не поможет, ей нужно другое... Я переворачиваюсь на правый бок, лицом к свече и теням, и закрываю голову подушкой. В снегу лежит на боку автобус, грязно-желтый, через него переброшена связка трамвайных вагонов, стрела поваленного экскаватора свесилась через парапет в Неву. Конечно! при случае... Не случай — закон, железо, блестящая сталь закона! В руке у меня шпала, я точу ее о пьедестал фальконетова Петра *et cetera*, изо рта у меня идет пар: мороз, а я в одном лишь блестящем расшитом мундире из нашей театральной костюмерной, как князь Гремин на балу... И мне не холодно, мне жарко. Чего железо не исцеляет — исцелит огонь! Я дожусь на живот — моя любимая ночная поза, обняв руками подушку. Я пилю оконную решетку — полусолнце с длинными лучами; рука устает, и тогда я распяливаю рот и грызу железо в надпиленных местах, и сплевываю железные опилки.

Свобода и море горят впереди, я слышу шум прибоя, пахнет солью и смолов...

Я их не различал. Они шипели, а дорвавшись до крика - хрипели сдавленно; их голоса лишены были тембра, я узнавал только мелкий бисер совиных каламбуров, его рассыпчатый те-дорек. Я тогда хорошо зарабатывал на книгах о переселении душ - и вот мне казалось, что все они умерли или еще не родились в нынешнем своем облике, а возникают и исчезают как раковины или трилобиты, и перед тем как исчезнуть, так горячатся, будто в запасе у них вечность и они ее хозяйка. Мне чудились древние крошечки и плауны, высокие как деревья. Выходил динозавр и спинал их: махнул хвостом - улица, отмахнется - переулок. Плауновый лес валился, вялый и водянистый, жертвенно готовый сгнить и спрессоваться. И динозавр тоже спешил упасть, и вымирал с энтузиазмом.

Какой-то из них пед.

"Гада.

я гада

я гада найду" -

на мотив "Славного моря". Или Марселезы:

"Вставай подымайся

и гада найди",

и еще много знакомых старых песен, всегда со своими словами.

Я встал по нужде. Клозет вместе с умывальником был у нас в маленькой каморке за комнатой и запирался на крючок. Случалось, я дергал дверь, когда там сидел Сова, страдавший запорами, и тогда он из-за двери учил меня манерам: "Не тревожь Сидящего, Сидящий неприкосновенен и суверенен более даже нежели Любящий, ибо он один, - творящий же любовь, - инкуб либо суккуб, двоится..."

Выйдя, я споткнулся о ведро с краской. В углу притаился певец, он тихонько притоптывал:

"А мне гада-гада надо

уж мне надо-надо гада."

"А гад один? - спросил я. - Или их много?" "Он всегда один и тот же, растлитель истины и убийца справедливости, имя ему Гад, я его найду, и тогда, тогда..." Он умолк и вытянул

шею, всматриваясь в меня. Я узнал старика, но вблизи он оказался совсем не так стар, в возрасте крестного, быть может. "Ну и что? — сказал я, — что вы с ним сделаете, когда найдете?" Он схватил меня за рукав и потянул к себе. "А вам все равно? Вам плевать?" "Ах нет, нет, — отвечал я, стараясь освободиться, — я только не хочу быть несчастным." "Ах, вот как! Но тебе все равно не удастся уцелеть!"

Таково было их совиное остроумие.

Однажды у нас на черном рынке случилась драка. Двое спорили за единственный экземпляр книги, оба совали маклеру деньги; я ел мороженое — его хорошо есть на холоде, потому что не тает, — и дирижировал разбегом. Я видел, как победитель, выхватив рывком книгу, поскользнулся и упал с обледенелого тротуара.

И тут, словно угадав, или они сами все подстроили? — налетели погромщики.

Я бежал как марафонец, как заяц и антилопа, бежал как не бегал ни разу в жизни, я весь превратился в мои две ноги. Я бежал так, как хотел жить, когда жевал и глотал горький снотворный порошок. Я влетел на чердак и рухнул, потеряв сознание.

## 6

Я долго лежал больной. Сова ухаживал за мной нежно и искусно, он умел делать все на свете. Он развлекал меня: высказав мысль, возводил ее в квадрат, будто заключал в рамку, и в точеный ящичек куба замыкал, преподносил с торжеством. Я не понимал, но странная ворожба притягивала. Я очень к нему привязался. Я отдал ему уцелевшие деньги; он отыскал ключ и запирает меня, уходя за едой. Даже гости его, ночные дтицы, тщетно скребли и стучались в дверь: мы сидели затаив дыхание, вздрагивали от каждого шороха и никого не пускали.

Он настаивал, чтоб я здесь отсиделся, пока не минет опасность. Я выздоровел; бездействие, ожидание томили меня. Однажды я рассказал Сове про Хозяина. "За что его так? — спросил я. — Если преступник, сослали бы в Сибирь, лишив чинов и дворянства, но если сумасшедший, больной — лечили бы. А его и туда и сюда."



- Князь церкви, - ответил Сева, - нельзя иметь никаких изъяснов. Ни умственных, ни телесных.

- Дерьмо, - заметил я, - он был хороший.

- Тем хуже! В свитере, в джинсах, реформатор! Лютер спас церковь, к сожалению.

- А говорят, Лютер хотел очистить идею.

- Говорят, недостаточный дренаж есть причина всех болезней. Очистить идею! Чем? Большой емфонной клизмой? Промыванием кишечника до чистой воды? И потом ты мне скажи, где помещаются ищем: в аппендиксе, в прямой кишке? В геморроидальных узлах, которые кровоточат? В отложениях солей, от которых коснеют кости? В себе ты их где-нибудь ощущаешь?

- Нет, - сказал я, - а ваши гости?

Он поморщился.

- Что тебе до них? Ты птичка певчая, ты цветок... Я был отцом, я хотел взглянуть на моих взрослых детей: я не сделал ничего и время мое прошло - но я мог бы жить в моих детях. Но те - только слизистые выделения Петербурга; а эти ... ты их видел.

- Я же спал...

- Те слишком мягки, а эти слишком жестки. Не то, не то!

- Но, Советник, в школе учили, что свободу и Пушкин любил в юности. Я спал, конечно, но даже сквозь сон чувствовалось, сколько в них пыла и самоотвержения. Разве это не прекрасно, не благородно?

- Это не та свобода!

- Советник, - спросил я, - а женщин среди них почему не было?

Он пожал плечами.

- Ты не разглядел.

Вдруг он сказал: Зачем ты не женился? - Или зачем не ездил верхом в Манеже, - заметил я.

Я вернусь домой  
на закате дня,  
обниму жену,  
надою коня.

Он не слушал и продолжал: я-де юркий и верткий, но вот

состарюсь и буду слаб и слеп, и тогда сын убьет козленка, сварит и приправит и подаст мне. Я-де кудей, чресла мои плодоносны, мне пристало...

Мне не пристало. Я объяснил, что я еврей только наполовину.

- Наполовину?

- Вернее, даже на четверть.

- Тогда ты грек. Ты эфеб, юный и прелестный. Греки не кичились потомством, одна Ниобея, и та наказана. Поди сюда, я тебя научу любви ради любви, любви бескорыстной и бесплодной...

... - Как?! - изумился я. - Вы умеете и так и этак? Амфибия, двоякодышащая?

Так я впервые изменил моей возлюбленной, моей первой и последней. Изменил не плотью одной, но душой и нематериальным сердцем: Советник был такой странный, гордый и чуждый! На миг уподобясь женщине - я думал, я узнаю, что испытала со мной моя жена; но любовь Сова была безрасплатная и бесследная. Его любовь оставила меня пустым.

Я сижу на чердаке безвыходно. Прошла неделя, волосы мои отросли, мягкий темный пушок появился на щеках и подбородке. Однажды, вернувшись из магазина, Сова приводит с собой молодую женщину, дворничиху Нюшу с первого этажа. Она наша давняя приятельница: когда Сова жил один, она подкармливала его то борщом, то квашеной капустой; я повникамился с ней, и случалось, помогал долбить лед на тротуаре. Денег у нас почти не осталось, не знаю, где Советник нашел на бутылку дешевого красного вина, но эту бутылку он достает из кармана и наливает стакан. Один стакан: для Нюди.

Третий лишний: она удивлена, видя, что я дома.

- Тебя как зовут, я забыла?

- Шура.

- Саша! - полхватывает Советник. - Шура Мура Сашура Аннет! Считаю, что его нет. Ты да я да мы с тобой...

- Санечка...

- Не сюсюкай. Он дитя, при нем можно. Он - оно - нам не помещает. Мы с тобой здесь вдвоем, ты меня, а я тебя



тота и неспешность задолго до меня и после меня вечно, вечно, — а передо мной всю жизнь медлительные лица, люди, я куда-то бежал, подожди немного — отдохнешь и ты: и вот остановился, перевел дух и вытер пот со лба. Я спасся. Я благодарил, Бог вспыхнул во мне как сверкающая звезда; я лежал у подножия креста, не замечая ни гвоздей, ни тернового венца, ни потоков крови. Я отдыхал, закрыв глаза.

Я трогал мою мягкую густую бороду и думал, уж не отречься ли навеки от мира. Мне мерещился мужской монастырь — по соседству с женским: братья и сестры ходят в гости и гуляют по саду, держа за руки, проходит год и еще год и двадцать лет и пятьдесят. Не улучшить ли мою старую формулу, не возвести ли ее до — хочу быть счастливым?

Я признался священнику. Я сказал, что порой склоняюсь и целую клавиатуру органа. Он смутился и ответил: он-де был усердным, но слабым студентом и вряд ли должным образом может посвятить меня в догматы. "Позвольте предложить вам книги... старинные и современные, там, правда, только русские православные авторы, но я плохо читаю по-латыни, а теперь так много говорят о соединении церквей!"

Я бы мог ответить, что не очень-то хочу что-либо знать, мне и так хорошо; и не по мне серьезные книги. Но он был такой пылкий, и юный, и робкий, говорил со мной так почтительно: неужели я ему казался стариком?

Книг было немного, растрепанных, старой орфографии, такие хорошо идут на черном рынке. Теперь впервые я их листал, порой задерживаясь: "... любить Бога. Но как я могу любить Бога? Это слишком дерзко — любить Бога..."

"Где Бог? Вне ли меня, во мне? Я один с моею тоской. Сказано: Он будет во мне, если я захочу: Его я в себе посею, полью, выращу, выпальвая сорняки. Но ведь это опять буду я и только я, всего лишь я один: я привил себе Бога как сыворотку из себя же, из собственной крови. И если Бог так слаб, что без воли моей в меня не войдет — что мне в таком Боге? Я склоняюсь только перед силой, которая вне меня и сильнее меня..."

И я тоже склонялся перед силой и властью меня сильнее — если не мог обойти ее справа или слева, скользнуть сверху,

подкопаться снизу. Только в армии, потому что из всех одежд одна солдатская форма на мне сидела плохо, и интонации команды единственные, которых я не умел дергать.

Я рассмеялся: уж не Сова ли переодетый написал эту книгу, как раз таковы были бы отношения Совы с Богом. К тому времени я с ним давно расстался. После случая с Нюшей он начал пить и бывать несносен. Он хныкал и жаловался; я перестал давать ему деньги, но все чаще заставлял его пьяным. "Вот, — бормотал он, вдруг замечая сор и разор в комнате, — все двинулось и идет мимо и помимо меня, а я смотрю, опустив руки... Как низко я пад!"

— Или вознесся до луны и звезд, возражал я лениво: кто знает, где верх, где низ?

Он слабел и бессознательно берег силы: отвечал, не поворачивал головы, дтянулся к кружке не рукой, а всем телом; он становился неподвижен, застывал в бронзу и мрамор, как памятник самому себе. Он уже не был странным, ни гордым, ни чуждым.

Надвигалась зима. Он мерз. Однажды вечером я застал его на полу перед рефлектором: он дрожал в ознобе и кутался как старуха в какой-то рваный платок вороньего цвета с кистями. Он теребил полуразвалившийся том, мой подарок.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

— О, прекрасно! Здоровью моему полезен русский холод... Я зевнул и сел на раскладушку.

— Денег нет? — спросил Сова.

— Нет пока.

Он застонал. Я подошел к нему.

— Возьми его, продай. Ты молод, тебе нельзя голодать.

Полезен русский холод... а я жмуешь к рефлектору грудьбу, животом, а спина леденеет!

— Ложитесь в постель, Советник, — сказал я, пытаюсь отобрать у него книгу. Он не отдал.

— Нет, погоди. Цотом. Я здесь еще!

От него пахло болезнью, старостью и смертью. Я отошел.

— Да что ж..., — сказал я вяло и слабо, — надо потерпеть... Зима кончится...

Зачем он жалуется на то, чему помочь невозможно? Что ж

мне - уничтожить зиму? Или переменить его рождение в зимней стране? Чего он хочет, глядя на меня так настойчиво, сжимая в руке книгу? Чтоб утешить его, я сказал:

- Советник, вы жертва. Это, конечно, печально, но всегда красиво и благородно.

И услышал в ответ:-

- Нет в жертве красоты, когда она не добровольна. Надо мною не враг, а рок.

Он уже не вставал варить кофе. Плитка теперь стояла у постели, я споласкивал кружку и ложку, наливал воду и ставил возле него. Чем мог я помочь? Я устал. Он был Сова, сова Минервы, бывшая в употреблении, отработанная птица, которая хлопает на свету глазами и тяжелыми крыльями; хлопает и не взлетает. Он был больной совой - и не был котом, которого инстинкт гонит за целебной травкой; и он все более становилсядохлой совой. Я жалел его, но от него я заразился ознобом, меня трясло на мокрых осенних улицах. Я ежился - а я хотел жить; да и денег у меня тогда на двоих швейцарских не хватало. Я ушел, оставив его спящим; у изголовья я поставил банку растворимого кофе и на ней три мятых рубля: все, что у меня было.

Я спустился с чердака - или поднялся? - к юному священнику на первый этаж старого дома, где в коридоре коммунальной квартиры томилась очередь в клозет и вечно капало с потолка: над ними прохудилась батарея. Книжки его не помогли: я не нашел в них ни Бога, ни любви. Но в нем самом горел неизвестный мне огонь, он просыпался задолго до рассвета, и мы беседовали. "Человек рождается зрячим, - начинал он, садясь на своем матрасе, - но потом слепнет и ошупью ищет дорогу..." "Возможно, я родился слепым, - отвечал я с его постели, занятая которую он меня заставил. - Слепым родился я, но не вы. Научите же меня вашему знанию." "У меня нет знания." "Но вы должны его иметь! Если не вы, то кто же?" Он виновато склонил голову.

- Отец, сказал я этому мальчику, - у меня была возлюбленная, единственная, первая и последняя. Она читала Бога превыше отца и матери, говорила с ним без страха, но и без фамильярности: он ни слишком свиреп, ни слишком жалостлив.

Мы с ней узнали радость. Нам разлучили — много лет назад, — но если она жива, то любит меня и поныне. Я помню, как легко всякое ее достоинство делалось моим...

— Так разыщите ее! Скорее!

Мы разговаривали тихо, в темноте, завернувшись в одеяла. Квартира спала. Было пять часов утра. В дверь позвонили.

## 8

Сперва я не мог сообразить, за что меня взяли. То наемкнут на черный рынок, то будто бы попали на след Врачебного Бюро или докопались даже до оперной службы у психиатра. Я слегка испугался, когда его привели на очную ставку со мной, но прошло столько лет, я был обрит наголо, и он меня не узнал. "Первый раз вижу", сказал он, и я повторил его слова. Я начал понимать, что меня ловят, берут на пушку и не догадываются, во всех случаях замешан один и тот же человек; но уж не мне им помогать... Это было как туча, которая гремит и сверкает где-то поблизости, и уходит не разразившись. В конце концов меня выслали из города как не работающего нигде. Это называлось: тунеядство.

Там, далеко, меня поселили в общежитии на четвертом этаже, в огромной комнате с унылыми созданиями. То ли восемнадцать, то ли двадцать три, как столов в коммунальной кухне у священника, как коек в палате военного госпиталя. Как у Шидлера в "Орлеанской деве" — мама велух читала отцу перевод Жуковского, когда они готовили к постановке оперу Чайковского: "Шестнадцать было нас знамен", монолог Пака. В армии я прыгнул на ходу с грузовика — потому что военная форма и интонации командцы делали меня несчастным; однако удобнее для всех было сказать, что я выпал из кузова нечаянно, а сотрясение мозга признали исключительно по симптомам, и вскоре я был комиссован.

Здесь соседи мои по комнате глядели искоса, прятали посылки и спали отвернувшись друг от друга. В тюрьме было веселее. Там был шум, но я привык дремать под хоры чердачных гостей; была теснота и ссоры, но случалось, мы вместе пели песни. Там я выучился ругаться — ах, если б трусливый

крестный пришел на свидание в тюрьму, как замечательно я бы его взбесил! Но ко мне ходили отец мой Герц и мама, и я жалею, что обрит и острижен: им бы понравилась моя черная борода и длинные волосы.

Я скучал в ссылке. Помог случай.

Наш начальник был женат. К его сыну ходила учительница музыки из ссыльных, жене почудилось, что начальник с ней крутит, женщину прогнали. Я занял ее место.

Умел ли учить? Не было даже нот: выгоняя учительницу, жена начальника изорвала ветхий сборник Баренбойма. Я смутно помнил "Зайчиков", "Ежики", "Лисичек", которых я повторял за мамой; потом пошли марши и танцы, Клементи и Шуман. Я все перенимал безошибочно, и все были довольны: учителя, мама и я сам.

Но мой маленький ученик играл по-своему. Ритм у него изменялся, появлялись неожиданные обороты в мелодии. Его варианты оказывались лучше образца. Пораженный, я просил повторить, но он не хотел или забывал, и всякий раз придумывал заново. Милый, думал я, сынок! Я чертил линейки и учил его писать ноты: он рисовал разноцветные круги и стрелы и объяснял: "это музыка". Дитя моей души! Быть может, у моей любимой сейчас растет сын. Не повторяй: повторить ты всегда сумеешь, ты овладеешь всем золотом мира, когда оно тебе понадобится, — а я научу тебя свободе. Но черт догадал тебя родиться в таком месте!

Его матери я ничего не сказал. Она сидела на уроках, я пел про птичек и лисичек, я вертел пыльным рыжим хвостом — но там была вечная зима, и для правдоподобия я линял и делался седым, чернобурым. А где же собаки? спросил я ее как-то. Кормить-то чем, — ответила она. И вспомнив школьные забавы, я показал ученику замечательный контрапункт Чижик-пыжика в Интернационалом.

Я написал священнику, он прислал ноты. Жена начальника впервые увидела нотную тетрадь с лирой, линейками, скрипичным ключом на обложке. Она напоила меня горячим сладким чаем.

Она думала — я хулиган, спекулянт или воршика, а я левой рукой брал на пианино глубокий бас, правой набирая вверх



октавы и квинты, и обертоны звучали как колокол. Я играл тремоло левой и глиссандо правой, изображая бурю. Она смягчалась. Она принесла расстроенную гитару, но еще боялась, что я как и матерщинник — а я играл и пел "Вишневу шаль" и "Калитку", и она бледнела. Я подтянул струны и спел "Эх раз, еще раз...", и тогда она повела меня в кухню и накормила мясом, настоящим жареным горячим мясом! — я хотел бы с картошкой, но зимой там даже начальник ел перловку; зато подливка была такая вкусная, что не будь я артист в ее глазах, я выливал бы тарелку.

Она была фельдшерица и вызывала бывшую учительницу мыть полы в медпункте, когда у той начинались регулы; впрочем, как она мне объяснила, при плохом питании регулы задерживаются надолго. И сказала: "Я ей еще покажу. Ишь задумала при муже устроиться. Ловкачи эти евреи!" "Я тоже еврей", — сказал я. Она покраснела. Я стал утешать ее: да я не настоящий, так, помесь... "Но это совсем другое дело! Ты даже не похож..."

И она истолкла столовой ложкой четыре таблетки слабительного и подсыпала начальнику в гороховый суп и перловую кашу. Сортир у них был во дворе, на морозе: в громадной тяжелой овчине он не успевал дойти до крыльца, как уже должен был возвращаться обратно. Присперев дверь столом, мы с ней устроились на полу в кухне, и лампочка горела вполне, а за окном была ночь и стужа. Она все приготовила: кухня вылизана до небывалой чистоты, и сама она вымытая, розовая, распаренная, влажные волосы распущены. Она внесла на вытянутых руках плоский бумажный мешок, развернула, вынула ночную рубашку: импортная польская, рассказала она, голубенькая, по подолу цветочки, глубокий вырез и вокруг ворота широкие серебристые кружева, пенные, панские. И голубые туфельки на опухших ногах. Бальное платье Золушки! сказал я, Царевна Лебедь, Афродита Анадиомена, пеннорожденная! *Gia la luna*, спел я, *mamma mia, mamma mia!* Мы пили разбавленный медицинский спирт. А песня звучит похоже как по-русски, заметила она. Я подтвердил: они, итальянцы, люди совсем такие как мы. И она, польщенная, блаженно вздохнула и сказала: "Еще раз, еще..."

Лучше сорок раз по разу, чем уж сразу сорок раз. Но

путь от сортира был путь во времени, и мы глядели на часы, чтоб не пропустить минуты, когда туфелька упадет с ноги, а карета превратится в пустую консервную банку, запряженную мышами. Она говорила не закрывая рта; а с первой моей возлюбленной мы любили молча. Да, я снова изменил ей: в этом печальном месте я не мог отвергнуть тепло, не ответить лаской на ласку. Я любил ее недолго, но искренно и нежно, я боялся смять пивную пену кружев; не так я поступал с моей второй женой. В нее я словно нож вонзал раз за разом, убивая. И мне нравилось ее убивать, потому что она была надменна и всех презирала.

С этой женщиной, матерью чудесного мальчика, мы были одни в ледяной и снежной стране. Позор тому, кто подумает плохо!

"Так он способный? — спрашивала она про сына, — надо же, а я его не хотела!" И обнимала меня, растроганная, волоская и осоловевшая. "И который до него был, тоже не хотела, а тут с работы могли погнать, и один мне сказал: беременных не имеют права. А он родился больной, нехороший. И не жил долго." Она заплакала. Я не смел утешать и спустил глаза благоговейно. "А может и лучше, что так, — сказала она, утирая слезы, — везде надо зубами, когтями, куда б ему, моему неполноценненькому... А так хоть сразу в рай попадет."

Мы сидели на кухне, пили разбавленный спирт и горячий, крепкий, сладкий чай до черноты и блеска в глазах.

А дальше?

Дальше... я стоял голый по пояс, поднимая руки, а она как бинтами обмотала меня бельевыми веревками, и я спустился из окна четвертого этажа, — надо ли говорить, что перед тем я перепилил оконную решетку пружинкой от часов, хотя мог бы легко расшатать прут в гнезде, раскрошить никудышную кирпичную кладку, — надо ли говорить, что мои товарищи по несчастью храпели, хлебнув неразбавленного спирту! По веревке я спустился вниз, и перешел по льду реку, которую не назову, и так далее, — и как жаль, что вранья тут больше, чем правды, но правде сказать — все вранье.

Но ведь вы слушали с удовольствием!

И более ни слова об этом.

*Buona sera, signori!* Солнце садится.

Быть может, те, кто слушает меня с первых слов, давно уже хочет вмешаться: не желал-де быть несчастным, а так далеко отклонился от общепринятого! И сулит, не замечая моих сорока лет, а только мой мальчишеский вид: уж я за тебя возьмусь! Еще не поздно исправиться! Но я был счастлив, signori! Я любил. Я не так смел, чтоб возвыситься над законами природы, но этого у меня никто не отнимет.

Я хочу, чтоб конец моего рассказа гремел как трубы и дитавры, но у меня только скрипка и мой слабый голос. Нет, добрая душа, благодарю, не тревожьте ваши свертки — вы думали дать мне поесть, подкрепиться, но я не это имел в виду. Да и как бы я, набив рот, жевал, заставляя публику жлать? Пить я тоже не привык в одиночку, я не Советник. Другое дело — если б здесь накрыть громадный стол на всех, мы сели бы вместе... Но вот что: не споете ли со мной?

Нет. Уж я вижу, что нет. Непривычно, необычно, не принято. Впрочем, если все запоют, кто будет платить музыкантам?

Ах, как хорош, как прекрасен был отец мой Герц, потрясавший руками над оркестром и хором! Не в яме: на сцене, во весь рост, седая голова откинута, руки в напряженном усилии как бы поднимают, несут громадную массу голосов и инструментов. Оркестранты растерянно моргают на ярком свете, вступление хора неожиданно близко, над самыми их головами, их оглушает. Назначена вторая репетиция и третья, и еще, без оглядки на время и деньги: отец мой Герц ставит Девятую симфонию. В награду за сорокалетнюю работу театр дает ему бенефис.

.. А я сижу в темном пустом зале, смотрю и слушаю. Как в детстве, пахнет легкой театральной пылью. Рядом со мной мама немного позже она поднимется на сцену, чтоб сыграть с оркестром Концерт Чайковского.

Я слушаю все репетиции, хожу на все балетные и оперные спектакли. Как в детстве, я в театре с утра до ночи. Я встречаю знакомых: когда-то они брали меня на руки, сажали на колени. Они очень постарели. А с новыми, молодыми я схожусь

быстро: болтаю в кулисах, целую ручки в уборных, курю у входа в яму, пью пиво в буфете. За спиной у меня шепчутся, но я так мил и беззаботен, так беспечно шучу, легко попадаю в тон собеседнику, подхватываю всякую тему — от философии до еврейского анекдота. Женщины меня признали, а вслед за ними мужчины. К тому ж я хорошо одет, благоухаю одеколоном, а белье на мне щегольское. После грязного ватника, после вонючих рубах на немом теле я сделался разборчив. Я капризен в еде, вспоминаю подарки Хозяина: лопух был, что не пользовался!

Театральные интеллектуалы даже ищут моего общества и уважительно намекают на мою ссылку. Меня принимают за кого-то другого, но я не поправляю. Их, правда, смущают мои пиджаки, жилеты и галстуки, это измена идеалу; я объясняю, что мода на благородные лохмetyя проходит, прошла. "И волосы не стриги так коротко, — учу я маленькую хориетку, — отпусти косы, ты же русская красавица. Не сутулься: ходи каждое утро с клавиром на голове или с толстым богословским трудом. И знаешь, — продолжаю я, ласково снимая у нее замусоленную сигарету, — не ругайся матом. Это неженственно. Ты же русская дворянка, и Дюма читала..."

Ночью она спросила: "А скажи, за что тебя?..." Я спел ей из "Лоэнгрина": "Ты все сомненья бросишь, ты ни за что не спросишь!" Она настаивала. "Хорошо, — сказал я, — но помни, ты сама этого хотела. Я агент. Я не сын своего отца, я штабс-капитан Рыбников: Осаки Катайма!"

Я ухаживал за меццо-сопрано, могучей Амнерис. Я обнимал ее — телом она напоминала мою любимую, мою первую и последнюю. Лицо Амнерис было немолодое, мятое, но я не помнил лица жены: мы с ней любили в темноте, осылая друг друга.

Мне нужны деньги, я согласен вышвырнуться вляться за любую работу, построить город или разрушить дворец. Я собираю детишек в нашем дворе, играю с ними, разучиваю песенки; родители платят мне вкладчину. Все хорошо, но я не снимаю темные очки, от этого моя белозубая улыбка кажется зловещей, и дети не решаются смеяться моим шуткам.

Меня не ищут, не ловят. Я ношу темные очки так, на всякий случай. Бояться нечего: я освобожден досрочно за хорошее

доведение, по ходатайству начальника... нет, друзья, не надо смеяться, разве не пожертвовала добровольно та женщина своей любовью, музыкальным образованием сына?

И вдруг, посмотрев на меня, отец воскликнул: "Эврика! Слепой Скрипач!"

Конечно, у него был актер на эту бессловесную роль из "Моцарта и Сальери" — разве что не игравший на скрипке, а я умел; но отец меня любил. Он любил театр и любил меня, и рад был поместить меньшее в большее, как в утку яйцо, в яйцо иглолку, а на конце иглолки кашеева смерть. Он пристроил меня статистом: я стоял в толпе черного клира в "Борисе", я в набеленной повязке приветствовал фараона в "Аиде"; в "Хованщине" я с непопделным ужасом и восторгом взирал на Досифея. Случалось, я забывался. Не мог понять, где я: в тюрьме ли, в автомобиле Хозяина, на чердаке у Совы; под колокольный звон в "Борисе" мне чудилось — сбылись мои мечты о мужском монастыре.

Я вспоминал, как подошел к нашему дому, поднялся по лестнице, увидел знакомую дверь...

Мои родители приняли меня с любовью. Меня не винили, надо мной не плакали. Открыв мне дверь, мама сказала: "В ванну!", а мою сброшенную одежду осторожно, двумя пальчиками подобрала с полу и свернула. Я хотел сказать, чтобы унесла подальше, — но кого я вдумал учить! Мама вернулась лишь через час.

Видя, как я худ и бледен, отец незаметно совал мне в карман деньги. Сжав ладонями мою голову, мама целовала меня. На суставах ее рук появились маленькие подагрические узелки, но пальцы сохраняли гибкость. Концерт у нее получался прекрасно.

Я думал: мама играла Концерт, потом родила меня и продолжала его играть; случись мне исчезнуть навсегда — и после обильных, искренних слез она будет снова играть Концерт. Мы нежно любили друг друга, но любовь не стала мостом между нами.

Я думал: расскажу отцу о своих похождениях. Мне нечего скрывать: я никого не надувал, и что делал — делал на совесть. О, я, конечно, смягчу мою исповедь, я напомню отцу две его заветные неоставленные оперы: "Фиделио" и "Свадьбу

Фигаро", равно любимые им за красоту и за интригу. Я скажу: я был молод и ходил опасными тропами, я ранил сердце отца шипами, но среди шипов рождаются розы! Отец, скажу я, дорогой отец, прости, что я балагурю, уж так я привык, но любовь... "Любовь, - говорил Советник, - это талант, или случай, как ставка на одну-единственную карту, и - да, борись проиграть, и - нет, не так я глуп, чтобы все мое поставить на одну-единственную карту!" Идеи, мысли - кто их знает? А чувства вот они: пальцем потрогать...

Слепой Скрипач был моей любимой ролью. Я зарабатывал в театре, отец и мама совали мне пятерки и десятки, денег мне хватало. И деньги были мне нужны. После Севера я все не мог согреться, в пустом партере, в кулисах, на лесенке в оркестровую яму дуло; изображая фараонова раба в "Аиде", в одной набедренной повязке, я дрожал и кутался в пыльные тетральные тряпки. Я начал пить.

Да, пить: а вам какое дело? Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня, крестный?

- Я и сам пью, - кричал он, - все пьют, у кого тайна и горе, а ты-то кто, чтоб тебе пить?!

Ах, я надеялся, я верил, возвращаясь издалека домой, звоня в родную дверь, что крестный сгинул! Но нет: он стоял в прихожей позади мамы и взглянул на меня с ужасом. Выйдя из ванны в отцовской пижаме, я его не застал, он спасся бегством и не появлялся у нас неделю. Уж не ждал ли, что отец и мама ради него меня выгонят? А потом вернулся. Вернулся к своей бутылке в углу у ножки рояля, чтобы, отпив два глотка, прослезиться, будто водка выходила у него через глаза; вернулся к хозяйственной сумке, с которой стоял в очередях, к таким бельям, которые носил в прачечную. Он отчитывался перед мамой в каждой копейке, хоть мама его не слушала. Это из-за него я не ел дома, стесняясь открыть холодильник. Из-за него медлил сменить простыни. Он был как осенний дождь, яростный и мелкий, неукротимый, занудный и бесконечный.

Вот только с пуделем крестный не ходил больше. Наш черный королевский пудель от старости скончался. Зато кот казался бессмертен: или это был его сын, даже внук? Прежне кот при пуделе кормился, теперь добывал еду сам. Он исчезал надолго. Однажды не было его три дня, и вдруг у нас под роялем

появились пять крошечных слепых котят. Мама позвала отца и сказала: "А д-то думала, что он кот!" Отец мой Герц глянул — он никогда не носил очков, все зубы целы, и грива в семьдесят лет гуще чем в тридцать, — отец глянул и ответил: "Наверно, он привел свою жену, чтобы рожала у нас под роялем." "И опрокинула водку Александра!"

Купили новую бутылку. Ах, зачем я в нее не помочился...

Мама едасла выводок от гнева крестного: положила в коробку из-под обуви и вынесла на лестницу. Там было тепло, но я еще подложил газет и налил молока в блюдце, и раза два ходил посмотреть на них. А когда пришел в третий раз, вся семейка исчезла.

Великий день приближался. Отец, забыв закрыть дверь в кабинет, взволнованно ходил туда и сюда, мычал и тонал, проверяя темпы. Мама, все более воздушная, теряла кошелек, роняла перчатки и шарфики и наступала на них в прихожей. Счастливицы, им же нужно было ни Бога, ни вина!

И на день отложили торжество, и на три: это у меццо Амнерис, одной из четырех солистов, — такие "дни".

Но вот он пришел, долгожданный день — и не дай мне Бог пережить его снова.

Отец мой Герц в сиянии софитов взшел на сцену. То, что он там творил, было не частное дело, не честолюбивое самовыражение: то была ставка на преображение мира. Не больше — но и не меньше. Первая часть, война, кровавая каша из мяса и костей, отец месил ее и переворачивал своими двумя руками; часть вторая, суетливое нахрапистое скерцо; Адажио, забвение, нечто вроде внутренней эмиграции в утопию уединенной любви, и предвестье эротических скрипичных разливов Вагнера и Чайковского. Три попытки; но вот финал. Бетховен и отец мой Герц сыграли революцию и отвергли: слишком свирепо. Отвергли разгул, стихию. Отрешились от суеты, созерцали звезды и нравственный закон, но это слишком безмятежно, благополучно, несбыточно! Что ж дальше? Последняя ставка. Они перебили множество ящ и собрались, наконец, есть личицу. Простенькая несенка, — ах как легко я ее переделал бы для ВИА, лишь чуть-чуть поломав ритмический рисунок! А они верили, что спасут мир. Умозрительный, нелепый, напыщенный, нескомпонованный финал, я его никогда не любил.

Но отец мой Герц возвышался и повелевал оркестру, хору и четырем солистам. Раскинув руки, он громоздил струнные на духовные, хор на оркестр, Пелион на Оссу, Альпы на Гималаи... Он создавал Вселенную заново и сам чуть ли не трепетал перед этим Новым Миром. Он превзошел себя. Он заклинал, показывая вполончелям вступление темы Радости. Уж не думал ли он, что встанет весь зал и запоет, что построена будет сейчас и здесь Вавилонская башня? Он призвал валторны...

Валторне случается киксануть от волнения. Случается хору отстать от оркестра, а солист может вступить чуть рано; ничего ужасного, дирижеру надо скорректировать слегка, и непосвященная публика не заметит...

Но он, мой отец, ничего не слышал. Он был упоенный, он ведь давно выверил темпы и интонации, он был священно и непреложно прав в толковании каждой фразы, он слушал свой внутренний замысел, свой идеал. Не для себя! Видит Бог, не для себя! Но бытие его было - в себе. Он слушал не двумя телесными ушами, но душой - и оглох в пароксизме любви.

И каким же оскорблением, каким искажением его божественной правоты оказывалось то, что звучало в ответ!

Оркестр и хор разошлись уже на два такта, четыре солиста испуганно и беспомощно смотрели на отца.

Приближалась вершина финала, сверхчеловеческие, натужные ноты: *Seid im Schlingen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt!* Всеми миру - это значит никому. "Возрадуйтесь! Обнимитесь, миллионы!" Уж приказал бы, наведя пулемет на толпу народов: обнимайтесь, не то...

Тут они, наконец, сошлись. После стольких репетиций они, пожалуй, могли обойтись и вовсе без дирижера. Но еще не раз возникала опасность, сердце у меня замдрало и ныло, я согнулся и спрятал лицо в ладонях. Мой сосед недоуменно оглядывался и ерзал в кресле, он подозревал что-то неладное, но не смел верить своим ушам: прославленный театр, торжественный юбилей...

И вот пытка прекратилась. Отец мой Герц стоял уронив руки, не сознавая, что все кончено. Тогда одна из солистов, меццо Амнерис, подошла к нему и, взяв мощной рукой за плечо, повернула его к публике. Лицо отца еще хранило отсветы нездешнего огня. Тотчас начались овации. Я вышел из зала.



За сценой рыдала мама, упав головой на пульт осветителя. "Младно, - уташал мрачный балетмейстер, - публика дура, не расчухают!" Отец откланялся и пошел через оркестр в кулису. Музыканты опускали глаза, им было неловко; кто-то злорадствовал: "Весь пар в свисток ушел." "Маэстро нездоров, - строго сказал директор театра, - возраст, стресс, кроме того, у него порок сердца." Крестный - он уже успел сида из директорской ложи - кивая головой, шептал с невыносимо тонкой усмешкой: "Да-да, сердечный порок..." Он ласково взял отца под руку, директор подхватил с другой стороны, вдвоем они повели его за сцену подальше. Отец улыбался им детской улыбкой.

Что же вы, хотелось мне крикнуть, ведь это обман, видимость, это только внешняя оболочка звуков! Его жезл сломался в предельном напряжении, но это лишь внешнее: слушайте сердцем! Слушайте его глубь, его суть, его душу! Там ему и Бог-отец не соперник и не советник. Бог, хотелось мне еще сказать, вознаграждает за намерения, - что ж, вы разве мудрее Бога?

Нет, они бы ничего не поняли. Но я-то знал, как прекрасен отец мой Герц.

До утра я шатался под мелким унылым дождем. Я поднялся на чердак к Советнику и увидел поцарапанную его дверью доску, приколотенную громадными ржавыми гвоздями. На площадке было грязно и мокро, и в эту грязь я улегся и долго лежал в моем лучшем костюме и щегольском белье. Я ни о чем не думал, ни о чем не жалел; я даже не чувствовал себя несчастным.

Я заснул и выспался. Я вернулся домой, принял ванну и переоделся, мне захотелось есть и пить. Потом я дорылся в шкаф, нашел свою старую шляпу. Я знал, что мне делать дальше: должно быть, эта мысль мне пришла во сне. Я выйду на улицу в темных очках, со скрипкой; положу у ног шляпу и начну играть. Кто-нибудь на ходу бросит монету, а кто-нибудь остановится. Рано или поздно подойдет милиционер, но я ему скажу: я репетирую, вживеюсь в роль, роль Слепого Скрипача, не может же он не знать Пушкина! - а если не знает, то ни за что не признается. Ну а тот, кто мне сейчас бросил пеньги, - мой партнер, этому легко поверить, ведь бросать будут

так редко. Конечно, это не заработок; но это судьба.

Я буду играть песенки попроще, и первую, пожалуй, вот эту:

Я вернусь домой  
на закате дня,  
обниму жену,  
напою кося.

Я ее аранжирую в разных стилях, от Баха до Элвиса Пресли, ведь я всегда легко подхватываю любые интонации. Потом я начну импровизировать... Впрочем, не надо увлекаться, я играю на скрипке лишь по-любительски. Возможно, я долго еще буду играть одну эту песню.

Однажды в сумерках выйдут из-за поворота мои родители, старые-престарые, отец — опираясь на толстую палку, но по-прежнему влюбленно и галантно поддерживая маму. Они пойдут, постоят, послушают, потом отец с трудом нагнется и положит мне в шляпу трешку — он заранее приготовит бумажку поновей, не рваную, не трепаную, — а сверху из деликатности насыпет звенящую серебряную мелочь. Потом родители уйдут домой; у поворота мама обернется и помашет мне рукой.

Вот уж и сумерки, час между волком и собакой. Есть бытие — как его назвать? Не сон оно, не бденье, и так далее в стихе; но в арде Ленского это сказано лучше: "бдения и сна приходит час определенный". Шляпу на голову, медяки в кармане! Любая из вас готова накормить меня ужином — скорее, чем дать мне денег, чтобы я поел сам. Но если пойдет дождь — не правда ли, любая из вас раскроет надо мной зонтик? Разноцветные зонтики, как в "Мадам Баттерфляй"!